

Библеизмы в прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина

Б.И. МАТВЕЕВ

О том, какое значение имело Священное Писание в его духовном развитии, Щедрин рассказал в хронике “Пошехонская старина”: “...когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие”. И подробнее в другом месте хроники: «Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моём сердце зачатки общечеловеческой совести {...} Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обременённых, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорблённые встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирождённой несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления поправленного права на участие в жизни. То “своё”, которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и *другие* обладают таким же, равносильным “своим”. И возбуждённая мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ» (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 10. С. 39, 79; далее – только том и стр.).

Безусловно, Священное Писание оказало на Щедрина не только нравственное, но и эстетическое воздействие. Не случайно в его литературном наследии большое место занимают сюжеты, образы, крылатые слова, заимствованные из Библии.

Весьма характерно в этом отношении предание “Христова ночь”, в котором рассказывается о воскресении Христа, пришедшего на землю возвестить людям труда с истомлёнными сердцами, униженным и оскорблённым о скором свержении ига тоски, горя и нужды. Пафос предания в любви к человеку и ненависти к тем, кто унижает его достоинство.

Рассказ необычайно поэтичен. Перед читателем зримо предстаёт Гефсиманский сад, Голгофа, повесившийся на дереве Иуда, шествие Христа по земле, олицетворяющее обновление мира. Эмоциональное воздействие повествования усилено звукописью и риторическими фи-

гурами. С помощью звукописи Щедрин добивается слияния воедино звука и образа, что повышает художественную выразительность произведения. Чтобы дать представление об этом, приведём отрывок из рассказа, в котором использован приём аллитерации (повторение согласных *в, р, с*) и единоначатия: “И сердце воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, ему уготованной. Всё это многострадальное воинство, которое пало перед ним, несло бремя жизни имени его ради; все они первые приклонили ухо к его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех он благословил, совершая свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут его и рвутся к нему. Все с беззаветною верою простирают к нему руки: “Господи! Ты ли?”» (9, 38).

В произведениях Щедрина часто упоминаются истории, связанные с отношением Хама к своему отцу, строительством Вавилонской башни, исходом евреев из египетского плена, отдельными эпизодами из жизни Христа.

В воспитательных целях вспоминает о Хаме дедушка рассказчика “Пошехонской старины”: “– Родителей следует почитать. Чти отца своего и мать, сказано в заповеди. Ной-то выпивши нагой лежал, и всё-таки, как Хам над ним посмеялся, так Бог проклял его. И пошёл от него хамов род” (10, 226).

Ретроградка Машенька (“Благонамеренные речи”) видит в Хаме не только непочтительного сына, но и родоначальника хамского племени – крепостных крестьян: – “Вот Хам: что ему было за то, что отца родного осудил! И до сих пор хамское-то племя... только недавно милость им дана!” (5, 436–437). Так собственное имя *Хам* (сын Ноя, проклятый отцом за непочтительность) стало нарицательным и приобрело два значения: 1. *Устар.* Презрительное название крепостного крестьянина, а также человека, принадлежащего к низшим сословиям общества; 2. *Разг.* Грубый, наглый человек.

Неоднократно обыгрывает писатель библейский миф о безуспешной попытке построить в Вавилоне башню, которая должна была достигнуть неба. Как известно, разгневанный Бог смешал языки строителей башни. Они перестали понимать друг друга и не могли продолжать свою работу. Фразеологизм *вавилонское столпотворение* (церк.-слав.: столпотворение – строение столпа, башни) употребляется в значении: сутолока, суматоха, неразбериха.

Именно таков смысл этого выражения в “Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил”: “– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!” (8, 322–323).

Само строительство подобной башни трактуется писателем по-разному. В “Истории одного города” – это один из плачевных результатов неподготовленности веками угнетаемого, некультурного народа к свободе: “Почувствовав себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатоости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчётом, чтоб верхний её конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не учёные и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков” (2, 417–418).

В “Господах ташкентцах” – прожекторство, замысел чего-то невыполнимого: “А талантливость именно тем и отличается, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые лёгкие. Божку съезд, Вавилонскую башню проектировать – вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какою лёгкостью выступают эти люди вперед” (3, 74).

В путевых очерках “За рубежом” – проявление злой силы, не останавливающейся ни перед чем для достижения своей цели: “Ибо тупец, в деле защиты инстинктов, обладает громадной силой инициативы и никогда ни перед чем не отступает. Если ему покажется, что необходимо, в видах его личного самосохранения, расстрелять вселенную – он расстреляет; ежели потребуются Вавилонскую башню построить – он построит” (7, 147). Таким образом, обыгрывая историю сооружения Вавилонской башни, Щедрин извлекает из неё разные уроки в зависимости от характера инициаторов и участников строительства.

В структурном отношении библейские выражения, встречающиеся в произведениях Щедрина, можно разделить на три группы. Первую составляют собственные имена, например, *Голиаф, Исав, Иов* и др. Вторую – словосочетания типа *мертвая буква, кимвал бряцающий, купель силоамская*; третью – афоризмы: *Да минует меня чаша сия; Ищите и обряцете; Одна рука даёт, другая не ведает* и т.д.

Щедрин довольно часто упоминает имена библейских персонажей – носителей определённых физических и нравственных качеств: огромной силы, красоты, мужества, вероломства, жестокости и т.д. Для до-революционного читателя это были значимые имена, и ему не нужно было обращаться к справочной литературе, чтобы понять, кто такая жена Урия, ибо Закон Божий преподавался в школе.

Имя *Урия* упоминается в “Губернских очерках”, в рассказе о чиновнике новой формации – Порфирии Петровиче. Своей блестящей карьерой он был обязан тому, что на его мать обратил внимание некий благодетель: “Полюбилась она старику (...) Всё ему мерещится то Уриева

жена полногрудая, то купель силоамская; то будто плывёт он к берегам ханаанским по морю житейскому, а житейское-то море такого чудно-молочного света, что гортань его сохнет от жажды нестерпимой” (1, 87). *Уриева жена* – это библейская красавица Вирсавия, жена полководца Урия Хеттеянина, которой прельстился царь Давид. Сперва он делает Вирсавию своей наложницей, а затем, отправив Урия в бой на явную смерть, – женой. Вирсавия родила Давиду четырёх сыновей, включая Соломона, которому она помогает в борьбе за трон.

Нередко у Щедрина персонажи сравниваются с библейскими, что придаёт изображенному, как правило, иронический характер. Сила и острота щедринских уподоблений порождается их неожиданностью. Чем меньше общих точек соприкосновения, тем свежее, образнее и комичнее звучит сатирическое сравнение. Вот несколько примеров, когда комический эффект создаётся включением библейских образов в несвойственный им контекст. В рассказе “Приятное семейство”, входящем в цикл “Губернские очерки”, нарисована колоритная сценка ужина, на котором не оказалось места главе дома: «Десяти человекам решительно нет места на “жизненном пире”, и в числе этих исключённых обретается Василий Николаич. Он приходит в неистовство и громко протестует против исключения. Марья Ивановна чувствует беду и выгоняет из-за стола Алексиса, который уже уселся и не прочь, пожалуй, вступить в бой с Марьей Ивановной за право ужинать. Сей достопочтенный муж, жертва хозяйственных соображений своей супруги, до такой степени изморён голодом, что готов, как Исав, продать право первородства за блюдо чечевицы» (1, 134). Исав – старший из сыновей – близнецов патриарха Исаака, за чечевичную похлёбку продал младшему брату Иакову право своего первородства, дававшего особые преимущества (Бытие, 25; 31–34).

Та же история, только без упоминания имени, используется писателем для характеристики людей, равнодушных к судьбам родины, живущих лишь ради личного обогащения. Знаменательно, что в этом случае ирония сменяется едким сарказмом: “Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы (...) Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлёбки, составляющей её насущный хлеб. Кроме этой похлёбки, она ничего не знает, и, уж конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить её, что между правом первородства и чечевичною похлёбкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней” (4, 296).

В сказке “Дикий помещик” главный её персонаж “с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как же-

лезные" (8, 341). Исава, как сказано в Библии, родился "косматым" (Бытие, 25; 25).

В "Истории одного города" любовницу градоначальника Фердыщенко, посадскую мещанку Аленку, летописец уподобляет царице Иезавель, чем создаётся комический эффект: "Новая сия Иезавель {...} навела на наш город сухость. С самого вешнего Никола, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя" (2, 343). Древняя израильская царица Иезавель, жена царя Ахава, печально прославилась своим идолопоклонством и жестокостью (3-я и 4-я "Книги царств").

Фразеологизмы усиливают эмоциональное воздействие текста, сообщают ему особую экспрессию и образность. Например, фразеологизм *камень преткновения* имеет значение: затруднение, на которое наталкивается кто-нибудь в каком-либо деле. Щедрин блестяще использует это изречение, рассказывая о трудностях, с которыми сталкиваются господа Молчалины для достижения жизненного благополучия: "Это самый опасный камень преткновения, который встречают Молчалины на пути своих умеренно-аккуратных затей; до того опасный, что нередко на нём обрушивается главная масса этих затей, не успев ни расцвести, ни развиться. Громадное большинство Молчалиных погибает тут навсегда..." (3, 371–372).

Фразеологизм *кимвал бряцающий* употребляется в значении: нечто большое по внешнему виду, очень громкое, но по существу пустое и бесплодное; обычно так говорится о пышных, торжественно звучащих, но малосодержательных словах. Именно в таком значении это выражение использовано в "Дневнике провинциала в Петербурге": "Говоря это, я чувствовал, что лицо моё горит от стыда, ибо я сам очень хорошо сознавал, что слова мои – кимвал бряцающий, а советы – не больше, как подбор пустых и праздных слов. Увы! я и сам не делатель, а только политик!" (4, 308).

Выражение *мёртвая буква* означает "формальная, внешняя сторона дела, противоположная сущности; то, что не находит практического применения". Щедрин прибегает к нему при оценке деятельности неожиданно упразднённого помпадур – высокопоставленного чиновника: "Он, подобно актёру, мог нравиться или не нравиться очевидцам-современникам, но для потомства (которое для него наступает с какою-то особенной быстротою) – он мёртвая буква, ничего никому не говорящая, ни о чём никому не напоминающая..." (2, 160).

Иногда Щедрин наполняет библейские выражения новым содержанием, которое обычно конкретизируется с помощью контекста. Так, новое значение получает выражение *ветхий человек* (Адам), которое восходит к Посланиям апостола Павла к римлянам (6; 6), ефесянам (4; 22), колоссянам (3; 9), где подразумевает грешного человека, который должен нравственно переродиться, освободиться от старых привычек.

В рассказе “Отец и сын” писатель рисует характерную для пореформенного времени картину смены в деревне “хозяев жизни”. Генерала-помещика Утробина вытесняет из дворянского гнезда кабатчик Антошка Стрелов: «Генерал называет Антошку подлецом и христопродацем; Антошка называет генерала “гнилою колодою”». Оба избегают встреч друг с другом, оба стараются даже не думать друг об друге, и оба не могут ступить шагу, чтобы одному не бросился в глаза новый с иголочки домик “нового человека”, а другому – тоже не старая, но уже несомненно потухающая усадьба “ветхого человека” ...» (5, 187). В данном случае словосочетание *ветхий человек* означает дряхлый, отживший свой век. Антонимы *новый–старый* усиливают выразительность зарисовки.

Вынесение фразеологизма в начало или конец абзаца способствует динамичности высказывания. Например: «“Хищник” – вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека» (4, 320).

“Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остаётся нетронутой” (10, 7). Выражение *злоба дня* употребляется в значении: интерес данного дня и вообще данного времени, волнующий общество. Возникло из церковнославянского текста Евангелия: *Довлеет дневи злоба его*, что означает: Довольно для каждого дня своей заботы (Матф., 6; 34).

Помещенный в конец абзаца, фразеологизм не только повышает экспрессивность высказывания, но и выполняет определённую композиционную функцию, являясь логическим выводом, заключительным аккордом всего сказанного. Весьма характерна в этом отношении концовка письма к маменьке Николая Батищева, пытавшегося неблагоприятным способом сделать карьеру: “О, Феофан Филаретов! как часто и с какою отрадой я вспоминаю о тебе в моём уединении! Ты сказал святую истину: в нашем обществе (зачёркнуто: “ведомстве”) человек, ищущий справедливости, находит одно из двух: или ров львиный, или прелесть сиренскую!..” (5, 98). В ров, в котором содержались львы, был брошен пророк Даниил за несоблюдение царского указа. *Львиный ров* – это что-то непредсказуемое и смертельно опасное, а *прелесть сиренская* означает обольщение, соблазн.

Творчески используя выразительные свойства библейских изречений, Щедрин наполняет последние новым содержанием, нередко частично изменяя их лексический состав. Сравним, например, обновление структуры устойчивого словосочетания за счёт его распространения второстепенными членами. Характерно в этом отношении распространение согласованными определениями и определительным придаточным предложением фразеологизма *заблудшая овца* (человек, сбив-

шийся с правильного пути): “Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшею, но всё ещё дорогою, всё ещё желанною овцою, для которой охотно отвернутся все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца!” (3, 7).

Введение новых слов, в частности несогласованных или согласованных определений, позволяет конкретизировать обобщённое значение фразеологизма, применить его к вполне конкретной ситуации. Так, в рассказе “Чудинов” (из цикла “Мелочи жизни”) Щедрин в немногих, но чрезвычайно выразительных словах показывает тщетность бедного юноши заработать на пропитание репетиторством: “С тех пор, несмотря на неоднократно возобновляемые объявления, вопрос об уроке словно в воду канул. Не отыскивалось желающих окунуться в силоамскую купель просвещения – и только” (9, 206). *Купель силоамская* – купальня Силоам в окрестностях Иерусалима. Согласно Евангелию, умывшись в ней, по слову Христа, слепорожденный прозреет (Иоанн, 9; 7). В переносном смысле – средство исцеления.

Особая роль в создании стилистического эффекта принадлежит прилагательным. Выступая в качестве определений к самым различным предметам и явлениям, они открывают широчайшие возможности для воздействия на читателя. Именно на определение падает большая логическая и экспрессивная нагрузка, оно раскрывает понимание автором сущности того или иного факта. Меткое, точное определение является весьма существенным элементом стиля.

Щедринские определения сообщают традиционным изречениям “второе дыхание”, повышают их выразительность. Например: “Разумеется, нам, как литераторам, оно понятно, что по суду и скорпиона приятно проглотить, – особенно ежели он запущен на точном основании, – но ведь надо же, чтоб и публика поняла, почему судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный” (7, 112). Речь здесь идёт о тернистом пути писателя-сатирика. Слово *скорпионы* в значении “притеснения, мучения” вошло в нашу речь из Библии, в которой (3-я Книга царств, 12; 11) рассказывается, что Ровоам, сын царя Соломона, в ответ на просьбу израильтян облегчить подати заявил: “Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами” (то есть плетями с несколькими хвостами, на концах которых прикреплены металлические палочки, заострённые наподобие жала скорпиона).

Слово *скорпион* писатель использует как в единственном числе и с определениями: судебный скорпион, административный скорпион (7, 112), так и во множественном: “Но в чём же тут неудобство? и для чего, вместо мнимых скорпионов, понадобились скорпионы подлинные?” (7.113).

В другом случае в целях повышения экспрессии и конкретизации выражения писатель заменяет в нём несогласованное определение со-

гласованным, причём в ином значении. Так он поступает с фразеологизмом *лепта вдовицы*, который означает: жертва количественно малая, но большая по своей внутренней ценности. Речение возникло из евангельского рассказа о пожертвованиях в сокровищницу иерусалимского храма. Щедрые взносы богачей, жертвовавших от избытка, противопоставлены здесь скромному приношению бедной вдовы, отдавшей всё, что она имела, – две лепты (Марк, 12; 41–44; Лука, 21; 1–4). Лепта – мелкая медная монета у древних евреев и в Греции.

В произведениях Щедрина находим *чиновническую лепту* и *дворничьи лепты*. Оба словосочетания служат средством характеристики персонажей с сомнительной репутацией. В “Господах ташкентцах” – это один из первоначальников, откупщик, открывший ломбард: “Вторично Велентьев, подобно Иову, воскликнул: бог дал, бог и взял, но с тех пор уже дал себе слово никогда не сворачивать с пути, который указывал ему на ломбард как на единственно верное хранилище чиновнических лепт” (3, 324).

В “Мелочах жизни” (рассказ “Газетчик”) Иван Непомнящий – типичная фигура жёлтой, продажной прессы: “Он ропщет на себя за то, что до сих пор так безрасчётно расходовал дворничьи лепты, и жёстко отказывает сотрудникам в выдаче денег в счёт будущих заработков” (9, 311).

Чтобы высказанную мысль сделать более яркой и точной по сохранению Щедрина нередко изменяет лексический состав фразеологизма, сохраняя неизменной его синтаксическую структуру. Таковы лексические замены в изречениях “совлечь с себя ветхого человека”, “козёл отпущения (искупления)”, “египетские казни”, “юдоль плача”.

В первом из названных фразеологизмов писатель заменяет глагол другим, близким по значению: “Но много ли можно насчитать таких, которые при этом воистину свергли с себя ветхого человека?” (7, 515); “Расспрашивая об нём старосту Андрея Ивановича, я узнал, что Артемий положительно стряхнул с себя ветхого человека и весь предался продаже и купле” (9, 479).

В других трёх фразеологизмах заменены существительные: “Он, то есть нигилист, то есть то загадочное существо, которое, подобно древнему козлу очищения, обязывалось понести на себе наказание за реформаторскую прыткость века” (5, 208). Крылатое выражение *козел отпущения (искупления)* возникло из описания существовавшего у древних евреев особого обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день грехоотпущения первосвященник клал руки на голову козла в знак возложения на него грехов еврейского народа, после чего козел изгонялся в пустыню (Левит, 16; 21–22). Фразеологизм употребляется в значении: человек, на которого постоянно сваливают чужую вину, несущий ответственность за других. Щедрина расширяет сло-

восочетание согласованным определением и заменяет одно из существительных другим.

“Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской изгой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?” (9, 34). Слово сочетание *египетская изва* создано Щедриным по образцу фразеологизмов библейского происхождения *египетский плен* и *египетские казни*, означающие жестокие муки, бедствия.

Выражение из Библии “юдоль плача” (Псал., 83; 7), обозначающее земную жизнь с её горестями и страданиями (*церк.-слав.* юдоль – долина), у Щедрина звучит как *юдоль скорбей*: “Так мы и расстались на том, что свобода от обязанности думать есть та любезнейшая приправа, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей” (4, 64). Из приведённых примеров видно, что каждый раз трансформация фразеологизма повышает его выразительность и колоритность.

Среди многочисленных фразеологизмов библейского происхождения в произведениях Щедрина чаще других встречается *краеугольный камень* со значением основа, главная идея. И это далеко не случайно. На протяжении всего творчества писатель исследовал основы современного общества: семью, собственность, государство – и пришёл к выводу, что эти институты извращены до неузнаваемости, являясь практически простой фикцией.

Развёрнутое исследование семьи содержится в романах “Господа Головлёвы” и “Пошехонская старина”, государства в “Истории одного города”, собственности в книге “За рубежом” и др. В сжатом, концентрированном виде своё отношение к основам общественного устройства сатирик предельно ясно и образно выражает посредством фразеологизма *краеугольные камни*. Он то разъясняет, что понимают привилегированные классы под краеугольными камнями, то картинно изображает, как они с ними обходятся.

Таковы убеждения молодого консерватора Мангушева, усвоившего “краткие начатки нравственности и религии”: «Выражение “краеугольные камни” он как-то особенно подчёркивал и всегда останавливался на нём. Он покручивал свои усики, пристально поглядывал на своего собеседника и умолкал, вполне уверенный, что всё, что надлежало сказать, уже высказано. В сущности же, “краеугольные камни”, о которых здесь упоминалось, состояли в том, что Мангушев по утрам чистил себе ногти и примеривал галстуки, потом – ездил по соседям или принимал таковых у себя...» (3, 179).

“Итак, всякий хочет жить – вот общий закон. Если при этом встречаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько их обойти. Но с места их всё-таки не сворачивают, потому что подобного рода камень может ещё и службу сослужить. А именно: он может загородить дорогу другим и тем значительно сократить размеры жизненной

конкуренции. Стало быть: умелый пусть пользуется, неумелый – пусть колотится лбом о краеугольные камни. Вот и всё” (5, 253).

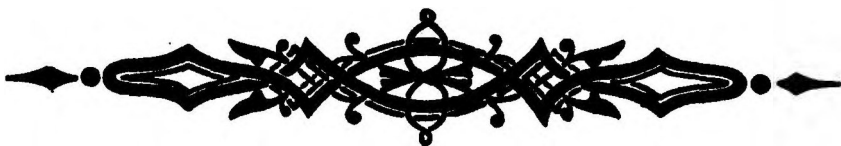
Таким образом, сатирик переосмысливает библейские выражения, актуализируя их смысл. Кроме того, в последнем примере изречение является не только выразительным, но и изобразительным средством, ибо перед нами предстаёт живописная жанровая зарисовка, в которой определяющую роль играет фразеологизм.

Для стиля Щедрина характерно объединение книжных выражений, в данном случае фразеологизмов библейского происхождения, с канцелярскими штампами или разговорными и просторечными словами. Подобное соединение, казалось бы, не соединимых элементов – один из художественных приёмов сатирика.

Примером может служить трактат генерала в отставке Утробина “О повреждении нравов”. В надежде на то, что его вновь призовут для административной деятельности, генерал следующим образом излагает свою программу: «В параграфе: “Как в сем случае поступить?” – объяснялось: “По усмотрению. Но ежели бы сие до такового лица относилось, которое, быв некогда опытно, а потом в отставке, внезапно подверглось призванию с облечением доверия, то, кажется, лучшее в сем случае было бы поступать так: разыскав корни и нити и отделив вредные плевелы от подлинных и полезных классов, первые исторгнуть, вторым же дать надлежащий по службе ход”» (5, 206–207).

Выражение *отделить плевелы от пшеницы* возникло из евангельской притчи и означает отделить вредное от полезного, плохое от хорошего. Автор трактата его трансформирует путём введения антонимических определений и церковнославянизмов (*вредные плевелы – полезные классы*), а главное употребляет в окружении канцелярских словосочетаний, что сообщает написанному комический эффект.

Как видно из примеров, приёмы использования Щедриным крылатых слов библейского происхождения разнообразны. Наряду с другими лексическими средствами языка, они выполняют смысловую и эмоциональную функцию. Писатель переосмысляет библейские изречения, сообщая им ироническое звучание, противопоставляет разговорный фразеологизм книжному; расширяет, заменяет компоненты. С помощью изменений повышаются экспрессивные возможности фразеологизмов и в конечном счёте достигается нужная точность и образность речи.



О “СЛУЧАЙНЫХ” ПОДРОБНОСТЯХ В ИСКУССТВЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

Э.С. АФАНАСЬЕВ,
доктор филологических наук

Возможны ли случайные подробности в художественной прозе Пушкина? Не правда ли, риторический вопрос? Обратимся к повести “Выстрел”.

Узнаём, что её герой Сильвио обладал “ужасным искусством” меткой стрельбы из пистолета. Сослужило ли, однако, это “искусство” какую-нибудь службу самому герою? Ни малейшей. Зато в повести появился ряд эффектных подробностей, особенно сверхметкий выстрел Сильвио в её финале.

Имеет ли какое-нибудь значение для характеристики героя его “иностранное” имя Сильвио? Едва ли, но определённый читательский интерес оно вызывает. Почему Сильвио в ожидании своего часа живёт в скучном, глухом местечке? Не странно ли, что человек, жизнь свою посвятивший отмищению, прощает оскорбление, нанесённое ему пьяным поручиком? Создаётся впечатление, что все эти и другие подстать им подробности только по видимости характерологические, на деле же они лишь повествовательные, необходимые автору для художественного эффекта.

Продолжим, однако, чтение. Не могут не смутить степень достоверности некоторые подробности сцены первой дуэли Сильвио с графом. Так, желая “дать себе время остыть”, Сильвио отказывается от права стрелять первым и предлагает графу бросить жребий. Право первого выстрела переходит к графу: прицелься он чуточку точнее и... повесть не имела бы продолжения. Автор заставил графа промахнуться, зато читателю демонстрируется простреленная фуражка Сильвио – “на вершок ото лба”.

Интрига повести закручивается, обещая читателю ещё один раунд дуэли, которая едва ли состоялась бы, если бы автор не поселил рассказчика по соседству с графом. И на этот раз автор (или граф?) “помиловал” Сильвио – ведь граф стрелял чуть ли не в упор. Не слишком ли много случайностей? Наконец, второй раунд дуэли не утратил ли по

прошествии многих лет свой первоначальный смысл? По всей видимости, живописуя драматические подробности сцены повторной дуэли, автор старался держать читателя в состоянии напряжённого интереса к повествованию и иных целей не преследовал, закончив мнимую многозначительной деталью – известием о гибели Сильвио на войне.

Следует ли считать, что повествовательные подробности в “Выстреле”, так сказать, светятся собственным светом, что психологически и характерологически они не мотивированы, а потому никакой содержательной нагрузки не несут, как не имеет содержания и конфликт между героями, который лишь имитируется в целях создания художественного эффекта?

Посмотрим на эти подробности с точки зрения их вероятности. Тогда окажется, что автор ни разу не преступил границ возможного. Разве герой не мог носить “иностранное” имя? Не мог рисковать своей жизнью? Разве каждый из героев не мог промахнуться на дуэли? Но введение эффектных повествовательных подробностей здесь мотивируется не по принципу их типичности, а по принципу их вероятности.

Нетипичность подробностей в “Выстреле” обусловлена тем, что Сильвио, как и граф, психологически разработан и соотнесён с исторической эпохой и средой довольно условно. Это не характеры, а общечеловеческие типы. Доминанта поведения Сильвио – желание “первенствовать” – один из антропологических признаков, и потому художественное воплощение этого типа не связывает автору руки необходимостью придерживаться строгих психологических и характерологических мотивировок.

Сродни Сильвио, как тип литературного героя, граф – баловень судьбы, неуязвимый в своей самодостаточности для амбициозных претензий оппонента. Специфика их отношений такова, что компромисс между ними исключён. Граф встаёт на пути Сильвио как непреодолимая преграда в его самореализации. И даже физическое устранение графа проблемы не снимает: в мире существует сила, способная остановить этого эгоцентрика. Конфликт, таким образом, оказывается непреодолимым, а потому и возникает необходимость во временной дистанции между дуэлями. Однако характер разрешения конфликта явно неадекватен его сущности: графа словно бы подменили.

Пожалуй, автор “Выстрела” и не ставил перед собой задачи художественного разрешения одной из тех антиномий бытия человека, которые характерны для художественного мира Пушкина. Здесь его цель – литературная игра, особый тип повествования, участником которого становится и читатель, вовлечённый в процесс художественного моделирования мира и человека. Одно из условий этой игры – насыщенность произведения элементами топики – хорошо узнаваемых ситуаций, конфликтов, типов героев, сюжетно-композиционных решений и т.п., продуцирующих богатые литературные реминисценции и этим ос-

ложняющих читателю адекватную интерпретацию текста. Как видим, литературная игра принимает особо изощрённую, сложную форму при условии высокой художественности произведения, означающей сложную соотнесённость подробностей изобразительного ряда с реалиями действительности. Основывается же литературная игра на новаторской концепции мира и человека.

“Повестями Белкина” Пушкин заложил основы высокохудожественной прозы, рассчитанной на квалифицированного читателя, без которого труд писателя теряет смысл.

* * *

Наиболее талантливый ученик Пушкина в искусстве литературной игры – А.П. Чехов. Однако у Чехова литературная игра как один из способов построения художественного текста настолько органична его повествованию, что едва ли правомерно говорить о её преднамеренности.

Ситуация рассказа Чехова “Новая дача” – конфликт между владельцем новопостроенной дачи инженером Кучеровым и крестьянами соседней деревни Обручановой – хорошо знакома читателю по произведениям русской классики. Достаточно вспомнить хотя бы “Утро помещика” Льва Толстого. У Толстого, однако, существо своих претензий к барину крестьяне сознают отчётливо, тогда как у Чехова ни владелец дачи, ни крестьяне в толк не могут взять, что послужило причиной их враждебности. Позиция автора, как и в пушкинском “Выстреле”, обозначена в чеховском рассказе сугубо художественно – композицией текста, ключ к которой и предлагается отыскать читателю.

В “Новой даче” имеются подробности, словно бы выпадающие из логики повествования, как бы случайные в их неотчётливой мотивированности. Во всяком случае, как-то “приладить” их к контексту рассказа задача весьма непростая.

В финале рассказа идущие с работы крестьяне Обручановой размышляют о причинах странных отношений с мягкосердечным инженером Кучеровым. “И, не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.

– Что ты? – спрашивает Родион.

– Жили без моста... – говорит Володька мрачно. – Жили мы без моста и не просили... и не надо нам.

Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понутив головы” (Чехов А.П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1986. Т. 10. С. 127; далее – только стр.).

Неизвестно, с каким семантическим пластом рассказа связана реплика Володьки, несомненно лишь, что такая связь существует. Рассказ и начинается с сообщения автора о строящемся мосте через реку в ок-

рестностях Обручановой: “Из деревни, стоящей высоко на крутом берегу, был виден его решётчатый остов, и в туманную погоду и в тихие зимние дни, когда его тонкие железные стропила и все леса кругом были покрыты инеем, он представлял живописную и даже фантастическую картину” (114).

Живописна и новая дача, построенная инженером Кучеровым по настоянию жены: “... красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг (...) бил фонтанчик, и зеркальный шар горел так ярко, что больно было смотреть” (114).

По-видимому, в сознании крестьян новый мост и новая дача находятся в одном ряду ярких, небудничных явлений, которые по неизвестной причине обручановцев раздражают:

“– Жили мы без моста, – проговорил Лычков-отец мрачно, – не прошили, зачем нам мост? Не желаем!” (118) – эта реплика звучит в контексте претензий крестьян к инженеру.

Только однажды эта стереотипная фраза сопровождается чем-то похожим на её мотивацию:

« – Жили мы без моста, – сказал Володька, ни на кого не глядя, – и не желаем.

– Чего там! Мост казённый.

– Не желаем.

– Тебя и не спросят. Чего ты!

– “Не спросят...” – передразнил Володька. – Нам ездить некуда, на что нам мост? Нужно, так и на лодке переплывём» (120). “Не спросят”... Не в сознании ли непричастности крестьян к тому, что входит в жизнь, хотя прямо их и не касается, заключается причина их нервозности? При этом для Чехова существенны обстоятельства личной жизни персонажей. О старике Козове, одном из заводил конфликта с инженером, сказано, что он был “человек одинокий, вдовец; жил он скучно (работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами), деньги на пропитание получал от сына...” (116). Ущербность своего жизненного статуса Козов “компенсирует” принятой на себя ролью скептика-провидца: “В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди, то говорил, что теперь всё погнёт в поле, всё пропало. И при этом всё подмигивал, как будто знал что-то” (116–117).

Не удивительно, что новый мост и тем более новая дача обостряют в Козове чувство его непричастности к жизни. И потому – “Козов как-то сразу возненавидел и новую усадьбу” (Там же), заражая своей ненавистью таких же маргиналов, как и он сам – пьянствующих отца и сына Лычковых и безвольного Володьку. Объявляя войну инженеру за случайную пограву луга Лычковых, они подогревают себя бессмысленными фразами:

“– Этого так оставить я не желаю! – кричал Лычков-сын. <...> – Мо-
ду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете
полного права обижать народ! Крепостных теперь нету!

– Крепостных теперь нету! – повторил Володька. <...>

– Ладно, пускай-ай! – подмигивал Козов. – Пускай теперь повернутся!
То-оже помещики!” (118).

Следует ли из этого, что инженер Кучеров стал невинной жертвой
несамодостаточных людей? Отнюдь. Для Чехова важен не конфликт
сам по себе, а феномен человеческих отношений, их сложность, запу-
танность. Кучеров сам спровоцировал конфликт, когда, обзаведясь да-
чей, землей и хозяйством почему-то возомнил, что он помещик, барин,
хотя и барин добрый, которому по его социальному статусу следует
благотворительствовать крестьянам. Тем самым он и крестьян прово-
цирует на отношения к нему как к барину – в соответствии с традици-
ей, то есть всячески ему вредя и отстаивая при этом мнимые свои пра-
ва.

Показательно, что в разгар вражды Лычков-отец приходит к инже-
неру искать управу на своего беспутного сына, видя во владельце дачи
последнюю инстанцию в поисках справедливости. Поистине инженер
Кучеров пожинает то, что сам и посеял. А в результате личные и соци-
альные отношения между владельцами дачи и обручановцами перепу-
тались настолько, что никто из них не может дать себе отчет в том, по-
чему мелочная вражда обернулась столь серьезными последствиями –
фактической капитуляцией Кучерова, вынужденного продать дачу и
уехать навсегда из этих так приглянувшихся его больной жене мест. С
новым владельцем дачи, высокомерным чиновником, крестьяне живут
в мире...

Создатель “Повестей Белкина” прекрасно представлял себе харак-
тер ожиданий современного ему читателя, воспитанного на произведе-
ниях допушкинской и пушкинской эпох. Дистанцироваться от этих
ожиданий и тем самым предложить читателю новое художественное
“письмо” Пушкин сумел, лишь поднявшись на новые высоты видения
сущности человека. Своё “загадочное” художественное “письмо” Че-
хов создал по тем же “рецептам”. Действительно, литературная игра
как одна из форм художественного повествования – игра ответствен-
ная и серьезная.

Ярославль

**Анненский и Андерсен
о Снежной королеве, о холоде и тепле**

О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук

Только детские книги читать...

Осип Мандельштам

Он взобрался в сани и и сел у её ног, а Колдунья накинута на него полу плаща и хорошенько подоткнула мех со всех сторон.

– Не хочется ли выпить чего-нибудь горяченького? – спросила она. –

Да, пожалуйста, ваше величество, – сказал Эдмунд. Зубы у него стучали от страха и холода.

Клайв С. Льюис. "Хроники Нарнии"

В 1910 году, московское издательство "Скорпион" выпустило в свет посмертную книгу Иннокентия Фёдоровича Анненского "Кипарисовый ларец", которую открывал "Трилистник сумеречный". В свою очередь, этот трилистник начинался со стихотворения "Сиреневая мгла":

Наша улица снегами залегла,
По снегам бежит сиреневая мгла.

Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю её давно.

Я молил её, сиреневую мглу:
"Погости-побудь со мной в моём углу,

Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!"

Но лишь издали услышал я ответ:
 “Если любишь, так и сам отыщешь след,

Где над омутом синее тонкий лёд,
 Там часочек погощу я, кончив лёт,

А у печки-то никто нас не видал...
 Только те мои, кто волен да удал”.

Любой ребенок может без труда указать на основной литературный источник этого стихотворения – хрестоматийно известную сказку Г.Х. Андерсена “Снежная королева”. Приведём большую цитату из “Снежной королевы”, выделяя курсивом фрагменты, перекликающиеся с “Сиреновой мглой”: “*Вечером* (...) он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на *оконном стекле* кружочек. За *окном* порхали *снежинки*; одна из них, побольше (...) начала расти, расти, пока наконец не превратилась в *женщину* (...) *она была так прелестна, так нежна*, вся из ослепительного белого льда и всё же живая! Глаза её сверкали как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. *Она кивнула мальчику и поманила его рукой*. Мальчик испугался и прыгнул со стула; мимо *окна* промелькнуло что-то похожее на белую птицу” (Андерсен Г.Х. Снежная королева (Пер. А. Ганзен // Андерсен Г.Х. Сказки и истории. Л., 1977. Т. 1. С. 298; далее – только стр.). Напомним, что страх, который первоначально охватывает Кая при виде Снежной королевы, впоследствии сменяется безграничным восхищением и любовью: “Кай взглянул на неё; она была так прекрасна! Более нежного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не показалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством” (302).

Разумеется, Андерсен намеренно упоминает, что в глазах Снежной королевы “не было *ни теплоты, ни кротости*”. Противостояние тепла и холода пронизывает всю сказку датского писателя, начиная с её пролога: “Некоторым людям осколки попадали прямо в *сердце*, и это было хуже всего: сердце превращалось в *кусочек льда*” (296). И вплоть до её финала: “...горячие (...) слёзы упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок” (323).

Особенно выразительным противостояние теплоты и холода предстаёт в следующем эпизоде “Снежной королевы”: “...окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замёрзшим стёклам – сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие” (297–298). Эпитет “чудесное” употреблён здесь очень к месту. Дело в том, что всё тёплое в “Снежной королеве” имеет самое непосредственное отношение к теме христианского чуда. А всё холодное, напротив, – к теме дьявольского соблазна.

«Кай *весь дрожал*, хотел прочесть “Отче наш”, но в уме у него вертелась одна таблица умножения» (301). Так изображается состояние главного героя сказки, попавшего под колдовскую власть Снежной королевы. И он же грозит своей будущей повелительнице в начале сказки: “Я посажу её на тёплую печку, вот она и растает!” (298).

Строками о тёплой печке завершается стихотворение Анненского “Сиреневая мгла”. Но Анненский, в отличие от своего предшественника, вовсе не склонен противопоставлять тепло со знаком плюс холоду со знаком минус. Сознательно отказался он и от столь значимой для “Снежной королевы” христианской символики. Подчиняясь парадоксальным законам, в соответствии с которыми выстроена книга “Кипарисовый ларец”, поэт готов предпочесть холод теплу (подобно тому, как в финальном стихотворении “Трилистника сумеречного” “Свечку внесли” тьма предпочтена свету: “Не мерещится ль вам иногда, / Когда сумерки ходят по дому, / Тут же возле иная среда, / Где живём мы совсем по-другому? / С тенью тень там так мягко слилась, / Там бывает такая минута, / Что лучами незримыми глаз / Мы уходим друг в друга как будто”):

Я молил её, сиреневую мглу:
“Погости-побудь со мной в моём углу,

Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!”

У Андерсена сочетание мотивов холода и воды таит в себе потенциальную опасность: “Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом” (302) – речь идёт о Кае, пропавшем из города в один из зимних дней. У Анненского вода подо льдом тоже опасна, но эта опасность таит в себе неизъяснимую привлекательность: “Где над омутом синее *тонкий лёд* / Там часочек погощу я, кончив лёт...”. Ср. в “Снежной королеве”: “...они *летели* над лесами и озёрами” (302). Тонкий, хрупкий, обречённый растаять и вместе с тем – такой прекрасный лёд, идеально вписывается в перечень хрупких, но прекрасных предметов, во множестве населяющих книгу “Кипарисовый ларец”.

В декорациях андерсеновской “Снежной королевы” Анненский разыграл собственную, глубоко оригинальную драму. “Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать” (Мандельштам О.Э. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 266).



“Именные зачины” в русской поэзии XX века

*Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук*

Вечерние часы перед столом,
Непоправимо белая страница...

А. Ахматова, 1913

Смертный страх перед бумагой белой...

М. Петровых, 1956

Появление “именного стиля”, основанного на “принципе безглагольных субстантивных перечислений” (Т.И. Сильман), связан в русской поэзии с именем Афанасия Фета, хотя отдельные номинативные строки иногда в начале стихотворения встречались у разных поэтов и до него: “Прекрасный день, счастливый день: / И солнце, и любовь!” (А. Дельвиг), “Мороз и солнце; день чудесный!” (А. Пушкин), “День тихий грёз, день серый и печальный...” (К. Павлова), “Утро туманное, утро седое...” (И. Тургенев), “Вечер мгlistый и ненастный...” (Ф. Тютчев), “Душный вечер, зимний вечер...” (Ап. Григорьев).

Это были редкие, случайные примеры, однообразные по тематике – обозначение времени суток. И только в фетовской поэтической системе оформляется и утверждается осознанный художественный приём: попытка расчленить в воображении непрерывный мир и “выделить в нём главные смысловые опоры, вопреки сложившимся грамматическим канонам” (Панченко О.Н. Номинативные и инфинитивные ряды в строе стихотворения. – В кн.: Очерки истории языка русской поэзии XX века / Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993. С. 92): “Тихая, звёздная ночь...”, “Утёсы. Зной и сон в пустыне, / Песок да звонкий хрящ кругом...”, “Буря на небе вечернем, / Моря сердитого шум...”. Несколько стихотворений А. Фета, похожих на каталог, но с чёткой “композицией пространства, чувства и слова”, с превращением наблюдаемого мира в переживаемый (Гаспаров М.Л. Избр. труды. М., 1997. Т. 2. С. 21–32), привели современников не просто в изумление, а в замешательство (см. пародии на знаменитое “Шёпот, робкое дыханье...”).

Открытие Фета было воспринято и подхвачено символистами, кото-

рые интуитивно почувствовали ассоциативные возможности номинативных рядов, их семантическую и эмоциональную значимость, особенно в зачинах (и подчас с кольцевым обрамлением). Не случайно, лингвисты подчёркивают, что благодаря интонационной самостоятельности «конструкция с именительным темы, как правило, вынесена в начало высказывания, “выдвинута” вперёд» (Григорьева А.Д., Иванова Н.Н. Язык поэзии XIX–XX веков // Фет. Современная лирика. М., 1985. С. 184).

Считается, что наибольшее воздействие этот фетовский приём оказал на А. Блока, который, как и А. Фет, предпочитал не изолированные существительные, а развёрнутые субстантивные группы, но не создавал целиком безглагольных стихов, а “рассыпал” номинативы по всему тексту: “Сумерки, сумерки вешние, / Хладные волны у ног, / В сердце – надежды нездешние (...) Отзвуки, песня далёкая (...) В сердце – надежды нездешние (...) Отблески, сумерки вешние, / Клики на том берегу” (1901). А “визитной карточкой” зрелого А. Блока стало стихотворение с перечнем одиночных существительных, обозначающих реалии городского ландшафта: “Ночь, улица, фонарь, аптека...” (1912). Приметы эти, варьирующиеся в конце: “Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь”, превращаются в символ бессмысленности и безысходности человеческого существования в его порочном круге.

Недаром А. Ахматова заметит через полвека: “Он прав – опять фонарь, аптека, / Нева, безмолвие, гранит...”. Блоковский образец вызвал к жизни множество отголосков: “Ночь. – Норд-ост. – Рёв солдат. – Рёв волн” (М. Цветаева), “Ночь и поле, и крик петухов...” (С. Есенин), “Ночь. Туман. Ограда сквера” (А. Присманова), “Ночь, и смерть, и духота...” (О. Берггольц), “Ночь. Платформы. Думы об одном” (Вл. Соколов), “Ночь. Тропа. Луна в разгаре” (Г. Горбовский), “Гидростанция. Ночь. Полумрак” (К. Ваншенкин). А вот В. Набоков, предпослав блоковский эпиграф своему стихотворению “Встреча” (1923), начинает его в духе раннего Блока: “Тоска, и тайна, и улада...” (ср. “Ни тоски, ни любви, ни обиды...” – из “Мы встречались с тобой на закате”). См. также у И. Бродского: “Ни тоски, ни любви, ни печали...” (1962).

Отметим, что по частоте обращений к назывным зачинам не уступали А. Блоку и другие символисты, кроме Ин. Анненского и Вяч. Иванова. Так, В. Брюсов даже вначале подражал А. Фету (“Эта светлая ночь, эта тихая ночь...”, “Серебро, огни и блёстки, – / Целый мир из серебра!”) и пользовался его приёмом, главным образом, в пейзажных стихах: “Грустный сумрак, грустный ветер, шелесты в дубах”, “Мох, да вереск, да граниты...”. З. Гиппиус отдавала предпочтение отвлечённостям, душевным состояниям: “Час одиночества укромный...”, “Минуты уныния...”. К. Бальмонт прославлял “безглагольность” не только в

природе (“Глубокая тишь. Безглагольность покоя” – “Безглагольность”), но и в поэзии и экспериментировал как с существительными, так и с прилагательными: “Вечер. Взморье. Вздохи ветра. / Величавый возглас волн” (“Чёлн томленья”), “Огонь очистительный, / Огонь роковой, / Красивый, властительный, / Блестящий, живой!” (“Гимн Огню”).

Неожиданно обнаруживается, что не одни символисты были наследниками А. Фета, а и ярый их противник И. Бунин, преобразовавший импрессионистические зачины в пейзажно-описательные и широко применявший их в пределах нескольких строк и целых строф: “Опять холодные седые небеса, / Пустынные поля, набитые дороги, / На рыжие ковры похожие леса / И тройка у крыльца, и слуги на пороге...”, “Ограда, крест, зелёная могила, / Роса, простор и тишина полей...”, “В чаще шорох потаённый, / Дуновение тепла. / Тополь, сверху озарённый, / Перед домом вознесенный, / Весь из жидкого стекла”.

В общем перечисленные конструкции в роли лирической экспозиции использовали многие поэты начала XX века, но с неодинаковой степенью интенсивности. Одни – больше: М. Волошин (“Мрак... Матерь... Смерть... Созвучное единство...”) и М. Кузмин («Персидская сирень! “Двенадцатая ночь”!»), В. Ходасевич (“Горячий ветер, злой и лживый...”) и Г. Иванов (“Полутона рябины и малины...”), Н. Клюев (“Болезнь да засуха, / На скотину мор”) и С. Есенин (“Синий туман. Снеговое раздолье...”); другие – меньше: А. Ахматова (“Протёртый коврики под иконой...”) и О. Мандельштам (“Бессонница. Гомер. Тугие паруса...”), И. Северянин (“Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!”) и В. Маяковский (“Колокола. / Ни гудка, / ни стука. / Бронзовая скука”), А. Белый (“Весёлый, искромётный лёд”) и С. Городецкий (“Леса вековые, сосновые...”).

Вторая неожиданность – многочисленность и многоликость субстантивных рядов в поэзии Марины Цветаевой, именно стиль которой складывался постепенно по мере эволюции её творческой манеры от “поэтики быта к поэтике слова” (М.Л. Гаспаров) – выдвигание слова как образа и нанизывание ассоциаций: “Лютая юдоль, / Дольняя любовь. / Руки: свет и соль. / Губы: смоль и кровь”. Тут и обособленные существительные, и группы их с зависимыми словами – прилагательными, причастиями, местоимениями: “Душа, не знающая меры, / Душа хлыста и изувера, / Тоскующая по бичу”, “Косматая звезда, / Спешащая в никуда / Из страшного ниоткуда”. А наряду с назывными предложениями всевозможные эллипсисы с пропуском глаголов, обращения, сложные фразы с подчинительной связью: “Первородство – на сиротство!”, “Бич жандармов, бог студентов, / Желчь мужей, услада жён – / Пушкин – в роли монумента?”, “Молодость моя! Моя чужая / Молодость! Мой сапожок непарный!”, “Это пеплы сокровищ: / Утрат, обид. / Это пеплы, пред коими / В прах – гранит”. Здесь не столько вступи-

тельные аккорды экспозиции, сколько кульминационный взрыв с вопросами и восклицаниями, тире и переносами: “Мракобесие. – Смерч. – Содом”; “Ятаган? Огонь?”; “Преодоление / Косности русской – / Пушкинский гений?”; “О слёзы на глазах! / Плач гнева и любви!”.

К именному стилю тяготел и Борис Пастернак, но реже, чем Цветаева, употреблял субстантивные строки и прошёл иную, чем она, эволюцию – от усложнённой метафоризации к предметному слову с прямым значением: “Вокзал, несгораемый ящик / Разлук моих, встреч и разлук...” (1913) и “Еловый бурелом, / Обрыв тропы овечьей” (1936), “Корыта и ушаты, / Нескладица с утра, / Дождливые закаты, / Сырые вечера” (1941). Любопытно, что на какой-то момент пути Пастернака и Цветаевой в восприятии номинативов пересеклись – и разошлись: “Скала и шторм. Скала и плащ, и шляпа, / Скала и – Пушкин”, “Облако. Звёзды. И сбоку – /Шлях и – Алеко” (цикл “Тема с вариациями”, 1918) и “Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин, / Пунш – и пенковая трубка / Пышущая” (“Психея”, 1920).

В советской поэзии 30–50-х годов утрачивается интерес к именным зачинам, к ним редко прибегают Н. Асеев и С. Кирсанов, П. Васильев и Э. Багрицкий, В. Луговской и Н. Заболоцкий, А. Твардовский и М. Исаковский, Я. Смеляков и А. Тарковский. А с 60-х годов номинативная речь получает всё большее распространение, что, вероятно, вызвано усилением ассоциативности поэтического мышления и ощущением дискретности мира, отсюда стремление к “образному эллипсису” (Е.А. Некрасова) и динамизму не за счёт глагольного действия, а быстрой, немотивированной смены картин, понятий, предметов, чувств и их сопоставления: “Дельвиг... Ленъ... Младая дева... / Утро... Слабая метель...” (Д. Самойлов), “Неустройство сосудов, сумятица жил, / Грусть в душе, меланхолия в сердце тупая” (Б. Слуцкий), “Шутка. / Шубка. / Взгляд мерцающий” (Вл. Соколов), “Мундиры, ментики, нашивки, эполеты” (Ю. Левитанский), “Свет. Распахнутые форточки. / Смех и гомон во дворе” (К. Ваншенкин).

Подчёркнутой предметностью, порой с указанием пространственных и временных координат отличаются номинативы Иосифа Бродского: “Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда” (“Роттердамский дневник”), “Пленное красное дерево частной квартиры в Риме” (“Римские элегии”), “Пара чугунных львов с комплексом задних лап” (“Резиденция”). Однако эта вещьность неотделима от сознания, и внешний план переплетается с внутренним: «Чёрные города, / воображенья грязь. / Сдавленное “когда”, / выплунутое “вчера”», / карканье воронка, / камерный айболит, / вдавливание позвонка / в стиранный неолит” (1962–1963).

При всём разнообразии синтаксической структуры назывных зачинов наблюдается несколько повторяющихся моделей:

1. Две пары сущ. + прил. (и наоборот), типа апухтинских “Ночи безумные, ночи бессонные...” и есенинского “Синий май. Заревая теп-

пынь..." – "Осень поздняя. Небо открытое..." (А. Блок), "Месяц задумчивый, полночь глубокая..." (И. Бунин), "Ноченька тёмная, жизнь подневольная..." (Н. Клюев) и "Синий вечер, тихий ветер..." (Г. Иванов), "Размытый путь. Кривые тополя" (Н. Рубцов), "Сизая морось, жёлтая липа..." (Ю. Мориц).

2. Перечень одиночных существительных с союзами и без – "И цветы, и шмели, и трава, и колосья..." (И. Бунин), "Земля и небо, плоть и дух..." (С. Клычков), "Детство. Мальчик. Пенал. Урок" (Н. Асеев), "Солнце. Березняк. Лыжня" (Л. Озеров).

3. Субстантивные группы им. пад. с другими падежами – "Сонеты солнца, мёда и луны" (К. Бальмонт), "Ночи без любимого – и ночи / С нелюбимым..." (М. Цветаева), "Крыло рояля. Руки Рихтера..." (Д. Самойлов).

4. Начальное сущ. с дальнейшим уточнением и определением – "Декабрь... Сугробы на дворе..." (А. Белый), "Прощание! Скорбное слово!" (Н. Заболоцкий), "Вечер. Развалины геометрии..." (И. Бродский), "Зима. Почерневших деревьев аллеи..." (Вл. Соколов), "Жизнь! Нечаянная радость..." (А. Жигулин).

5. Сочетание существительных с указательным местоимением после фетовского "Это утро, радость эта..." и "Те же росы, откосы, туманы..." А. Белого (1908) и ахматовского "Тот же голос, тот же взгляд..." (1909) – "Эти вечные счёты, расчёты, дачи..." (А. Кушнер), "Эти встречи второпях, / Этот шёпот торопливый..." (А. Вознесенский), "Та же молодость, и те же дыры..." (М. Цветаева), "Тот же вялый балтийский рассвет..." (Д. Самойлов).

Случается, что ритмико-синтаксическое сходство порождает и тематические переключки и реминисценции. Например, "Город зимний, / Город дивный..." Д. Самойлова напоминает пушкинский "Город пышный, город бедный...", а "Чёрный ворон, белый снег" А. Жигулина – блоковские начала "Чёрный ворон в сумраке снежном..." и "Чёрный вечер. / Белый снег" в поэме "Двенадцать". Даются как бы вариации одной и той же темы: "Сухие, чистые морозы..." (Вл. Соколов) и "Лихие, жёсткие морозы..." (Д. Самойлов), "Сумерки, сумерки вешние..." (А. Блок) – "Сумерки снежные. Дали туманные" (В. Ходасевич) – "Сумерки. Снег. Тишина" (И. Бродский), "И ветер, и дождик, и мгла..." (И. Бунин) – "Ни дождя, ни ветра, ни тумана..." (И. Кнорринг).

Одной из постоянных "номинативных" тем в поэзии XX века стали картины родной стороны и раздумья о родине, быть может, берущие своё начало от тютчевских строк: "Эти бедные селенья, / Эта скудная природа – / Край родной долготерпенья, / Край ты русского народа!" и блоковской "России" ("Россия, нищая Россия..."). Вот они: "России сияняя роса..." (В. Нарбут), "Мелколесье. Степь и дали" (С. Есенин), "Тоска по родине! Давно / Разоблачённая морока!" (М. Цветаева), "Москва. Мороз. Россия. Да снег, летящий вкось" (А. Межиров), "Родина! Бе-

лый туман / В чёрном логоу под горою...” (А. Жигулин), “Страна вагонная, вагонное терпенье...” (Ю. Мориц), “Россия средней полосы...” (Вл. Соколов).

Инерция первой безглагольной строки часто захватывает и последующие, занимая одну-две строфы: “Дикий лавр и плющ и розы...” И. Бунина (6 строк), “Липовая аллея” Б. Пастернака (4 строки), “Наездницы, развалины, псалмы” М. Цветаевой (6), “Светлый праздник бездомности...” Ю. Левитанского (8), “Спичка” К. Ваншенкина (5), “Ровеснику” Вл. Соколова (20). Однако лишь немногие авторы изредка “вослед” Афанасию Фету решаются совсем “освободить” свои стихи от глаголов, как это сделали Б. Пастернак (“Осень. Сказочный чертог...”), М. Цветаева (“По холмам – круглым и смуглым...”), А. Ахматова (“Про стихи”), Б. Слуцкий (“Запах лжи, почти неуследимый...”), Вл. Соколов (“О, умножение листьев...”), К. Ваншенкин (“Режущий свет”).

Приём, вошедший в русскую поэзию как импрессионистический и символично-ассоциативный, приобретает всё большую смысловую обобщённость, философичность и формульность: “Безумье – и благо-разумье...” (М. Цветаева), “Игра судьбы. Игра добра и зла...” (Г. Иванов), “О детство! Ковш душевной глубины!» (Б. Пастернак), “Частная жизнь. Рваные мысли, страхи” (И. Бродский), “Химера самосохранения!...” (Д. Самойлов), “Победных дней / Незатемнённый свет” (Вл. Соколов), “Орбиты звёзд и созвездий трассы...” (К. Ваншенкин), “Удивительное ощущение / нормальной жизни” (Вяч. Куприянов).

В заключение хочется остановиться на одном диалоге двух поэтов, построенном на номинативах (правда, не в односоставном предложении, а в именной части составного сказуемого). Это “Определение поэзии” (1919) Б. Пастернака и “Про стихи” (1936) А. Ахматовой, в которых идёт речь о природе поэтического творчества. В первом стихотворении определяется его природная сущность в слиянии земного и небесного (“заглохшего гороха” и “слёз вселенной”) и в возвышенно-романтическом духе.

Это – круто налившийся свист,
Это – щёлканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Это – сладкий заглохший горох,
Это – слёзы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.

Последнее “это” относится к музыке, включая в себя глагольное действие, но сюжет на этом не обрывается. Ахматовское же стихотво-

рение ограничено двумя строфами и описывает творческий процесс, его обстановку, атмосферу и содержание.

Это – выжимки бессонниц,
 Это – свеч кривых нагар,
 Это – сотен белых звонниц
 Первый утренний удар...
 Это – теплый подоконник
 Под черниговской луной,
 Это – пчёлы, это – донник,
 Это – пыль, и мрак, и зной.

Выбрав грамматическую форму раннего стихотворения Пастернака (и тоже повторив местоимение “это”), Ахматова скорее всего “метила” в позднего “Художника” (1936), автор которого выражал готовность ради поэтического вдохновения отречься не только от быта, но от дружбы, разума и даже совести (“Он на это мебель стопит, / Дружбу, разум, совесть, быт”). Поэтесса с этим категорически не согласна и называет “выжимки бессонниц” и утренний колокольный звон в качестве “пробудителей” совести и вспоминает друзей юности, к тому времени опальных и вскоре репрессированных и погибших: В. Нарбута, посвятив ему “Про стихи” и упомянув “черниговскую луну” (он уроженец Черниговщины); и О. Мандельштама – намёком о пчёлах и доннике, о которых писал поэт (“...как пчёлы, <...> вылетев из улья...”, “На радость осам пахнет медуница”; медуница и донник – одна и та же пахучая медоносная трава). А пастернаковскую формулу художественного творчества – “Жизнь и случай, смерть и страсть” А. Ахматова заменяет своей: “Это – пыль, и мрак, и зной”, ибо для неё пыль пахнет “солнечным лучом”, а стихи растут из сора, лопуха, плесени, запаха дёгтя (см. цикл “Тайны ремесла”, в который входит и данное 8-стишие).

Итак, поэтическое двадцатое столетие начиналось такими именными зачинами: “Полночная тень. Тишина. / Стук сердца и стук часов” (З. Гиппиус. “Стук”, 1900), “Арка... Разбитый карниз, / Своды, колонны и стены” (М. Волошин. “На форуме”, 1900), “Ручей среди сухих песков...” (И. Бунин. “Ручей”, 1901), “Запевающий сон, зацветающий цвет, / Исчезающий день, погасающий свет” (А. Блок. 1902), “Камни, полдень, пыль и молот...” (В. Брюсов. “Каменщик”, 1903).

А какими оно завершилось? Может быть, этими: “Музыка эта ночная в сабвее...” (Г. Кружков – Звезда. 1998. № 6), или “Небо и поле, поле и небо. / Редко когда озерцо / или полоска несжатого хлеба / и ветерка озорство” (Д. Новиков – Новый мир. 1999. № 5), или “Тишина первородная, сушь” (Т. Андропова – Октябрь. 1999. № 4).

*Цфат
 Израиль*



О ЖИЗНИ И ТРУДАХ ИВАНА КУРАТОВА

Жизнь и творчество этого выдающегося коми поэта, просветителя и языковеда необычны. Развивались они по канонам приключенческого романа с недостающими страницами и внезапно оборванным концом...

Родился Иван Алексеевич Куратов 18(6) июля 1839 года в селе Кибра (ныне село Куратово Сысольского района Республики Коми) в семье священника, став в ней девятым ребёнком. Когда Куратову шёл седьмой год, его отец скоропостижно скончался, и нелёгкие заботы о воспитании детей легли на плечи матери. Умная, расторопная женщина сделала всё возможное, чтобы её дети получили образование. Единственно доступным для мальчиков из глухого коми села было в то время Яренское духовное училище, находившееся в соседнем уезде. Куратов, с малых лет освоивший чтение псалтыри и навыки церковнославянского письма, успешно выдержал экзаменационные испытания.

По окончании в 1854 году училища Куратов поступил в Вологодскую духовную семинарию. Закончив её в 1860 году, он решил посвятить себя педагогической деятельности и стал преподавателем Усть-Сысольского духовно-приходского училища. Отличаясь пылким нравом, острой нетерпимостью к невежеству и произволу властей, Куратов вскоре нажил себе врагов в лице городской администрации и духовенства. Масла в огонь подлило общение Куратова с поляками, посланными в Усть-Сысольск после поражения польского национально-освободительного восстания 1863–1864 годов, у которых Куратов учился польскому языку. Не желая более выносить оскорбительных притеснений, Куратов в октябре 1865 года уехал в Казань, где поступил в учебное заведение, приготавливавшее военных юристов. В Казани Куратов тесно общался с местной творческой интеллигенцией, деятельно расширял свои лингвистические познания и культурные навыки. В круг его тамошних знакомых входили, по некоторым данным, такие крупные тюркологи, как Н.И. Ильминский и М.-Г. Махмудов, исследователи Н.Н. Булич, М.Н. Петровский, И.Н. Холмогоров и Н.А. Фирсов.

Через год по распределению Куратов был направлен на службу сначала в Семипалатинск, затем в город Верный (Алма-Ата). Умер Куратов 29(17) сентября 1875 года там же, в возрасте 36 лет.

“С ранней молодости {...}, – сообщалось в некрологе, написанном другом и сослуживцем поэта Львом Тимофеевичем Самариным, – Куратов посвящал себя на служение своему родному народу. В каждой строке заметок покойного проглядывает необыкновенная привязанность и любовь его к зырянскому племени. {...} В бумагах покойного сохранилась записка одного из казанских учёных, свидетельствующая, что труды Куратова весьма ценились сведущими людьми. До самой смерти, уже не вставая с постели, Иван Алексеевич занимался любимым своим предметом” (Туркестанские ведомости. 1876. № 1. 2 янв. С. 1).

Стихи Куратов начал писать ещё в ранней юности, однако при жизни ему удалось опубликовать, и то под псевдонимом, лишь пять стихотворений. Из более чем двадцати лингвистических работ Куратова при его жизни увидели свет только две, причём помещены они были в малотиражной газете “Вологодские губернские ведомости”.

Драматична и не вполне прояснена судьба рукописей Куратова. Утрачены его обширная переписка, дневники, а также, по-видимому, некоторые литературные работы. Вообще достойно удивления, что до нас дошло, пусть и не в полном виде, его рукописное наследие, предредавшее тысячевёрстное путешествие сначала в Санкт-Петербург, затем, похоже, в Тобольск и, наконец, в Коми край, где рукописи пролежали в безвестности около полувека... Первая относительно полная и систематизированная публикация литературного и научного наследия Куратова была осуществлена в 1939 году по случаю его столетнего юбилея, но и на этот раз она не избежала драматического поворота: подготовивший рукописи к изданию крупный коми учёный А.С. Сидоров был репрессирован, и завершение этой работы поручили другим лицам, по-своему распорядившимися исходным текстом. До сих пор, несмотря на усилия куратоведов, в том числе и автора этих строк, не удаётся опубликовать подготовленное ещё десять лет назад самое полное собрание прозаических сочинений Куратова...

Жанрово-тематическое разнообразие стихотворных произведений Куратова велико. Это любовная лирика, бытовые зарисовки, острая сатира, философская притча, поэма, исторический рассказ, басня, эпиграмма, перифраз и пародия. Однако главной задушевной мыслью поэта была дума о нелёгкой судьбе крестьянского труженика, неутомимого кормильца, хранителя лучших свойств родного народа: трудолюбия, душевной прямоты, неброской стойкости, тяги к добру, справедливости и духовного совершенства.

Таковыми свойствами в полной мере обладал и сам Куратов. С особой силой эти черты его личности выразились в так называемом деле Эмана, когда Куратову как военному юристу было поручено раскрыть запутанное преступление, последствия которого заделали ни много ни мало высшие правительственные круги царской России.

Суть этого дела такова. В Казахстане в феврале 1872 года некий штабс-капитан Эман перевозил из одного посёлка в другой крупную сумму казённых денег. Решив присвоить их, Эман с сообщниками устроил инсценировку, согласно которой Эмана и сопровождавших его солдат якобы ограбили злоумышленники из числа местных жителей и кочевавших поблизости калмыков. Поначалу преступный розыгрыш удался. Приступивший к расследованию судья барон Евгений Гревениц, сын крупного петербургского сановника, либо по добросовестному заблуждению, либо по сговору с Эманом стал усиленно добывать свидетельские показания в его пользу, и добывал их с таким рвением, что сам едва не угодил под суд. По указанию барона оклеветанных и арестованных "инородцев" морили голодом, избивали и изощрённо пытали. Дело Эмана, вызвавшее у начальства сомнения, было поручено для повторного расследования военному следователю Петрову. После того как Гревениц обвинил его в предвзятости, дело передали Куратову. Тот, внимательно изучив материалы следствия, поддержал обвинения против Эмана (вскоре застрелившегося), его сообщников и Гревеница, решительно потребовав отстранить барона от должности. Спасло Гревеница от суда и позорного тюремного заключения лишь заступничество высших петербургских чиновников, за помощью к которым бросился его сановный отец. Неравная борьба с всемогущими нарушителями законности подорвала силы Куратова и преждевременнo свела его в могилу.

Говоря о вкладе Куратова в отечественную словесность, мы должны прежде всего отметить его настойчивое стремление к непредвзятому научному исследованию коми языка, который даже в наши дни порой описывают в категориях греко-латинской грамматики. Куратов первым обратился к проблеме взаимодействия русского и коми языков, верно решил вопрос о характере и объёме лексических заимствований из русского в коми язык, решительно отстаивал мнение о наибольшей пригодности для коми языка кириллического алфавита в отличие от других графических систем. В своих лингвистических исследованиях, отмеченных остротой мысли, новаторским духом и полемическим напором, Куратов привлекает материал 53 языков из 16 языковых семей и групп.

Среди стихотворений Куратова выделяются его переводы на коми язык сочинений русских классиков, в первую очередь Пушкина.

Русский язык стал для Куратова вторым родным языком. Кроме обширной русскоязычной прозы, перу Куратова принадлежат написанные по-русски стихотворения, отмеченные виртуозной рифмовкой, меткими сравнениями, свежими метафорами, необычными олицетвлениями, красочными эпитетами.

Предлагаемые читательскому вниманию стихотворения Куратова извлечены из изданий: Куратов Иван. Стихи. М., 1975; Куратов Иван.

Менам муза. Сыктывкар, 1979; прозаические отрывки цит. по кн.: Куратов И. А. Лингвистические работы. Сыктывкар, 1939; Куратов И. Ты бесконечна, жизнь/Сост., пред. и комм. В.И. Мартынова. Сыктывкар, 1988.

Из наследия Ивана Куратова

Язык коми

Наш коми язык, я знаю,
Величьем ещё не блистает,
Но знаю о нём и другое:
Он лишнего не болтает.

Наш коми язык мне дорог,
Он звучен, красив и нежен, –
И если на нём буду петь я,
Простит меня бог, в чём грешен.

Беседуют сёстры, братья,
Друзья говорят при встрече,
Родня мне желает счастья
На добром этом наречье.

Я слышал ещё в колыбели
Язык наш родной и милый,
И, видно, о нём позабуду
Только во тьме могилы.

Я сердцем сумел почуять
Богатства его живые,
И вот потихоньку песни
На нём я запел впервые.

А следом за мной и другие
Пускай смелей запевают,
И сто двадцать тысяч коми
О многом хорошем узнают!

(Перевёл С. Северцев)

Верховой

Едет рысью, да неспешной
По дороге верховой.
Что ж невесел ты, сердешный,
Что качаешь головой?

Иль услышал о войне ты?
Иль о жёнке загрустил?
Иль барчук – ездок отпетый
Твою лошадь запалил?

Конь здоров, и в путь-дорогу
Сам он рвётся, вороной;
И России, слава богу,
Не грозит никто войной.

Есть у молодца кручина:
Вслед за ним через лесок
Едет денежный купчина
Да с товарами возок.

Вот что молодца тревожит,
Оттого-то он утрюм:
Зависть злая душу гложет,
Злая мысль пришла на ум...

Тихо едет, выжидает,
А наедет – и как раз
Он купчине угадает,
Влепит обухом меж глаз.

Тут застигнет на дороге
Душегуба становой, –
Гнить ему тогда в остроге,
Уж не свидеться с женой.

(Перевёл В. Тихомиров)

* * *

Как с тобой мы тёмной ночью целовались,
Как ласкались, не видал честной народ –
Лишь от звёздочек от ясных не скрывались,
Не пугал нас их весёлый хоровод.

Но, как видно, с неба звёздочка упала,
Синю морю рассказала всё про нас,
Сине море всему свету разболтало,
Рыбаку напели вёсла в тот же час.

А рыбак пропел зазнобе песню эту,
Как встречались, миловались мы тайком.
Парни, девки разнесли по белу свету,
В городах поют и в сёлах вечером.

(Перевёл В. Тихомиров)

Лодка

Вверх по речке, по быстринке
Выгребаю я на лодке,
Я гребу, гребу – ни с места!
Иль застрял я посерёдке?

Ель вон та, на побережье
Впереди давно маячит...
Я гребу, гребу! Неужто
Водяной меня дурачит?

Поднялягу! Поднялягу!
На волнах лодчонка скачет,
Подвигаясь понемногу, –
Ель уж позади маячит.

Поднялягу! Поднялягу!
Я твердил, да всё без толка –
Вспять меня снесло теченьем,
Впереди всё та же ёлка.

Ох, не сдвинулся я с места!
Всё, как прежде! Это, значит,
Мчатся волны, только волны,
И на них лодчонка скачет!

(Перевёл В. Тихомиров)

Парень-бедняк

Братцы, не тужите,
Вы, как я, живите,
Дом мой – белый свет без края,
Солнце – печка золотая.

Мой надел счастливый –
Огород крапивы,
Поливать, стеречь не нужно,
Всё растёт и зреет дружно.

У меня довольно
Животины вольной:
В тёмный лес пойду – поймаю
Иль убью, кого желаю.

Мне казна не снится,
Так чего ж мне злиться?
Разве в счастье пребывает
Тот, кто золото копает?

Пьян я крепким пивом,
Сваренным на диво,
Им река полна до края,
Вон как пенится, играя!

Хлеб в печах широких,
Щи в горшках глубоких
Для меня готовят всюду,
Потружусь – и сытым буду.

Я приду к любому
И везде, как дома;
А у вас обиды, ссоры,
У детей с отцами споры.

Скучно богатею,
Я ж в тоске не млею, –
Оттого и кудри вьются,
Гляну – девушки смеются.

Так у нас ведётся,
Так у нас поётся,
А что на сердце бывает,
Ото всех оно скрывает.

(Перевёл П. Семинин)

Тьма

Нашу землю облегла
Ночь крошечная от века;
Тёмны люди и дела –
Здесь не сыщешь человека.

Нет, не сыщешь! Даже лучших,
Чьё убранство белым было,
Ныне тьма мышей летучих
Одолела, облепила.

Зрят вампиры белый свет –
И вопьются... И конечно,
Прежде, чем придёт рассвет,
Захлебнусь я тьмой крошечной.

Тесно людям без огня...
Но заря теснит потёмки:
Светлый мир не для меня!
Но для вас грядёт, потомки.

Близок, братья, час чудесный!
Вижу я, уже светает...
Вся земля в росе небесной
Под лучами засверкает.

(Перевёл В. Тихомиров)

Самсон

Как не стало в нём той силы-мочи,
Так ему и выкололи очи.
А потом пошла над ним потеха,
И далёко разносилось эхо
Смеха!

“Замолчите! – крикнул непокорный, –
Вот я вас!...” И сдвинул столб опорный...
Будто ветром иву закачало –
Рухнул столб, а вслед и кровля зала
Пала!

Дочь за мать от смерти хоронились,
Князь – под стол... Недолго это длилось:
Только пыль вздымается на сцене,
Превратились все, причастные к измене,
В тени!

Крики, хруст костей в горящем зале –
Люди с плит свою же кровь лизали...
Полегли они на том же месте –
И Самсон, и жертвы грозной мести
Вместе!

И наверно, с той поры доныне
Слышен вопль из-под руин в пустыне:
“Не губите гения! Иль к смерти
Ослеплённый приведёт вас, верьте!
Верьте!

(Перевёл В. Тихомиров)

Усть-Сысольск¹

Город пошлый, город грязный!
Заместил твои концы
Сброд какой-то безобразный,
Подлецы все да глупцы!

Из грязи без сквернословья
Ног не вынешь! Пять домов,
Храм один, а все сословья
Ходят в двадцать кабаков!

Не дотронуться рукою,
Словно ты харчок, нечист;
Над большою над рекою
Стал ты мал и неказист!

На твоих домах старинных
Гриб растёт, и шаг так скользк
На твоих мостках бесчинных...
Это – баба Усть-Сысольск!

.....

Ты не гнул воловьей шеи
Пред наукой и умом,
Строил им всегда траншеи...
Скотским их давил ярмом!

Ты, уж всем известно, сплетник
Препрославленный!
Будь директор иль советник
Неотставленный!

Как собака, ты порою
В ноги кинешься;
Добряки, так уж лисою
К ним подвинешься...

Погрязай в рутине вечной
Город сплетен и клевет!
Град пустынный, град увечный,
Град – презрения предмет!

Слепой старик

Хоть совсем уж дед седой –
Он не в тягость людям. С толком
Он на ощупь, тихомолком
Что-то ладит день-деньской.

Чуть не век старик живёт,
А на зависть молодому
Лапти он сплетёт живому,
Гроб покойнику собьёт.

Он и кадку смастерит,
Он и вырежет лопату,
И хоть руки слабоваты,
Всё в них словно бы горит.

Поработав дотемна,
Выйдет дед и для порядку
У ворот он бросит кадку –
Мол, не треснет ли она?

И, подняв её, рукой
Сделав два иль три удара,
Узнаёт по звуку старый –
Есть ли в ней изъян какой.

Если есть – так в тот же миг
Он, не вымолвив ни слова,
Мастерить возьмётся снова.
И всегда молчит старик.

Молча он заказ возьмёт,
Всё исполнит аккуратно,
Сам снесёт и так обратно,
Не сказав цены, пойдёт.

Чтит он только честный труд,
Видит грех в любом обмане,
Знают деда все селяне
И к другому не идут.

Денег с них он не берёт,
За труды же – то старуха,
То бабёнка-молодуха
Хлеб, бруснику, холст несёт.

Этот даст ему сукна,
Тот дровишками услужит,
Так старик живёт – не тужит,
Слеп, а жизнь ему видна.

(Перевёл Б. Ирнин)

* * *

Что вы ссору вновь раздули,
Тычете друг другу дули?
“Станем русскими скорей!” –
Слышу я в кругу друзей.
Пусть когда-то станет коми
Русским, ненцем иль суоми,
Пусть останемся мы коми, –
Стать всего для нас важней
Чуть богаче и умней!

(Перевёл П. Панченко)

*

*

*

Ой, жизнь, ты жизнь! Я с каждым днём всё больше
Тобою дорожу,
Нам ссоры ни к чему, ты остаёшься,
А я вот ухожу.
Ты бесконечна, жизнь, и станешь лучше,
Милей когда-нибудь...
Что ж к нелюбимой теме ты толкаешь:
“О смерти не забудь!..”
Мы разлучимся... И чем я смиренней,
Тем благосклонней ты.
Лет двадцать пять месил я грязь, а часик
Хочу я рвать цветы...
Твои цветы увянут. Вместе с ними
Увяну, зная, и я.
Другие будут жить... Пошли мне, боже,
Покой, молю тебя!
Ой, жизнь, ты жизнь! Я с каждым днём всё больше
Тобою дорожу,
Нам ссоры ни к чему, ты остаёшься,
А я вот ухожу.
(Перевёл П. Панченко)

О зырянских книгах

Откуда зыряне² взялись? Если этот вопрос обратить к зырянам, то они ответят: “От отцов и матерей”. Что было до их отцов и матерей, того они не знают точно так же, как их отцы и матери не знали, что было до их родителей не только за 100 лет, но и за 50 лет раньше. У зырян нет народной памяти. Да и помнить-то им нечего; бедна, бедна событиями их история. У зырян летописей не водилось: “впреж бо сего не было”, потому что они писать не умели или потому – эта причина важнее, – что им записывать было нечего. Великие события создают летопись и летописцев... (...) Что прикажете зырянам помнить? Приезды губернских чинов, полошащих и ставящих на ногу целые общества, загоняющих бедных зырянских кляч и пробующих крепость своих кулаков на рылах и зубах самих зырян... Но это так обыкновенно, что не стоит записывать. Проедет губернский Юпитер – и в продолжение полугода зыряне, оправляясь от страха, произведённого им, опять продолжат жить так тихо, что водой не замутить. Прошедшее зырян такая пустыня, где глаз не находит предметов, чтобы на них остановиться и по отношениям их определить обозреваемое пространство и свой-

ства его. Зыряне шли по этой однообразной пустыне, и так как ничего особенного в ней нельзя было заметить, то и отказываются от всяких рассказов о своём путешествии. <...>

Грамматика зырянского языка

<...> Зырянский язык изучать – значит изучать зырянский народ, его образ мыслей и взглядов на мир и жизнь, его образование (происхождение) и вообще его отличительный народный оттенок. Итак, вопрос об изучении зырянского языка тождествен с вопросом об изучении народов во всех их отношениях.

Зырянский язык изучать – значит изучать общие грамматические формы монголо-финских языков; это облегчение при изучении последних и вообще хорошая подготовка к изучению языков азиатских. Изучение зырянского языка ведёт к объяснению русского, на который первый, как и все инородные языки, без сомнения, имел некоторое влияние.

Хорошо изучивший этот язык видит родство его с языками северо-запада Азии; отсюда он переходит к историческому вопросу о передвижении народов, решение которого объяснит многое в истории.

Язык такой логической постройки, каков зырянский и вообще финские, достоин уж внимания потому, что изучение его развивает способности мышления. <...>

“Усть-сысольские критики...”

Усть-сысольские критики Некрасова ставят выше Пушкина. Гм! Если циклоп возьмёт ребёнка на голову, то ребёнок будет выше циклопа.

Рапорт исполняющему должность губернатора Семиреченской области

22 июня 1871 г.

Вследствие предложения Вашего превосходительства от 16 сего июня за № 3135 я открыл подписку на сооружение памятника А.С. Пушкину и по ней собрал 31 р. 50 коп., которые при отношении моём от сего числа № 982 передал в Верненское уездное казначейство. Подлинный подписной лист я буду иметь честь представить Вашему превосходительству по записании оного именами пожертвователей, а список

лиц, пожертвовавших упомянутые деньги, представляю при сем и почтнейше прошу разрешить напечатать его в одном из ближайших номеров по Семиреченской области.

*Коллежский секретарь
Куратов*

КОММЕНТАРИИ

¹ “Усть-Сысольск” – прежнее, до 1930 года, название города Сыктывкара, столицы Республики Коми. Стихотворение Куратова написано по-русски и представляет собой перифраз стихотворения “Москва” русского поэта и публициста, участника Отечественной войны 1812 года Фёдора Николаевича Глинки. Биографической основой куратовского стихотворения “Усть-Сысольск” послужило столкновение поэта с городскими властями и духовенством. Здесь в стихотворении опущены две строфы, содержащие биографические подробности, требующие специального и обширного комментария.

² *Зыряне* – устаревшее название народа коми. При публикации этой заметки опущен предпосланный ей эпиграф. Так же как и другие прозаические сочинения, заметка написана Куратовым по-русски.

Г.И. Тираспольский ©,
*доктор филологических наук
Сыктывкар*



О ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО ИЗДАНИЯ

“ПРАВИЛ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ”

А.М. МОЛДОВАН,

доктор филологических наук,

директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Необходимость в новом орфографическом руководстве назрела давно: действующие в настоящее время “Правила русской орфографии и пунктуации”, выпущенные в свет в 1956 г. (и не переиздававшиеся с начала 60 гг.), не регламентируют многих сторон русского письма. Мы пишем *купе*, *шоссе*, *резюме*, *турне*, *карате* и т.п. слова с буквой *е* (а не *э*) на конце, но любой может написать и *шоссэ* (а уж *каратэ* пишут повсеместно) – закон здесь в прямом смысле не писан, нет никакого правила на этот случай. А как писать слово *плеер* – с буквой *й* или без нее? Или *уикенд* – слитно или через дефис, и какая буква должна быть после *к* – *е* или *э*? Как писать слово *мелочевка* – с *ё* или *о*? Многие из таких пробелов обнаруживаются в связи с появлением в русском языке новых слов. Но возникают и новые словообразовательные элементы, например, *мини*, *видео-*, *аудио-* и т.п. Как их писать: слитно или через дефис?

Особенно заметный разнобой проявляется в области слитных, раздельных и дефисных написаний и в использовании прописных и строчных букв. Некоторые неудачно сформулированные правила противоречат современной орфографической практике. Например, мало кто задумывается над тем, что общепринятое дефисное написание *научно-исследовательский* противоречит основному действующему правилу, гласящему, что при подчинительных отношениях соответствующих частей (сравните: *научные исследования*) они должны писаться слитно.

Значит, нужно либо менять написание, либо иначе формулировать правило.

Другой пример. Никто пока не отменял необходимость сохранения удвоенных согласных перед суффиксом *-к(а)* в уменьшительных и фамильярных формах личных имен типа *Алка, Эмка, Кириллка*, но сплошь и рядом это правило нарушается, причем пишущим даже не приходит в голову, что написание таких слов с одной согласной – ошибка.

В употреблении прописных букв действующие правила отягощены старыми идеологическими и политическими установками. Естественно, что от них сейчас все стихийно отошли, но в отсутствие новых единых правил в этих написаниях царит полная анархия.

Не находя ответа на интересующий вопрос по орфографии или пунктуации, пишущие на русском языке вынуждены обращаться к различным пособиям и справочникам, в которых содержатся соответствующие рекомендации. Нередко эти рекомендации расходятся, порой диаметрально. И поскольку они не имеют законной силы, в конечном счете разноречивость в написаниях остается.

О недостатках действующих «Правил» можно еще много говорить (например, их иллюстративный материал во многом уже не соответствует современной языковой практике). Но и сказанного достаточно, чтобы констатировать: это издание устарело, оно стало недоступным и не справляется со своей функцией.

Язык наш находится в непрерывном движении и изменяется. Письменная его форма, испытывая влияние устной, в чем-то ей противится, но в чем-то непременно уступает, чтобы между ними не возникла пропасть. Это естественный процесс. Наша задача – заботиться о том, чтобы «буква и дух» орфографических и пунктуационных правил русского языка сохраняли единство на всем пространстве Государства Российского и за его пределами. Хранителем этого своеобразного госстандарта традиционно является Академия наук, сейчас это Орфографическая комиссия РАН и сектор орфографии и орфоэпии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Они следят за практикой письма и выявляют сложные и спорные написания, не охваченные действующими правилами, присматриваются к новым словам, изучая их лингвистические свойства и готовят предложения по их правописанию.

За полвека, прошедших со времени выхода Правил 1956 г., в филологической науке появилось немало новых теоретических исследований, а также работ, обобщающих сложившуюся практику письма либо по-новому объясняющих лингвистические основы того или иного правила (работы А.А. Зализняка, Б.З. Букчиной, Л.П. Калакуцкой, Н.А. Еськовой, В.Ф. Ивановой, С.М. Кузьминой, В.В. Лопатина и др.).

Переходя к характеристике нового издания «Правил», я хочу подчеркнуть, что оно не содержит никаких изменений, затрагивающих

основные принципы русского письма. Его авторов заботили не абстрактные лингвистические построения, а интересы пишущих и читающих на русском языке. Поэтому они с максимальной осторожностью подходили к действующим орфограммам, учитывая, что в них запечатлена многовековая письменная история русского языка. Помня, что орфография не любит потрясений, что это крайне консервативная сфера нашей культуры, авторы избежали соблазна ее упрощения и не попытались устранить традиционные написания, отступающие от основного фонеморфологического принципа. Целью “Правил” является обеспечение всех нас – учащихся и ученых – исчерпывающими ответами на все возможные вопросы, связанные с русской орфографией и пунктуацией. Это, конечно, привело к увеличению объема справочника, но зато в нем теперь собраны все правила и во многих случаях приведены полные списки слов, подчиняющихся той или иной орфограмме.

Можно выделить следующие основные направления научной работы или принципы, или установки, которыми руководствовались составители правил. Это, во-первых, полнота охвата правилами всех сторон письма, исключение пробелов в правилах. В этом состоит их принципиальная новизна. Например, в старых “Правилах” о разделительном твердом знаке сказано, что он ставится после иноязычных элементов, *аб-, ад- интер-* и некоторых других, но в этом перечне нет элементов *супер-, пост-, гипер-,* и поэтому слова *постъельцинский, постъядерный, суперяхта* и т.п. одни пишут с ъ, другие – без него. За полвека в русском языке появились слова с начальными компонентами *аудио-, видео-, диско-, макси-, медиа-, миди-, мини, ретро-* (*аудиоаппаратура, видеомаягнитофон* и т.п.). На них предлагается распространить правило о слитном написании сложных слов с начальными компонентами типа *аэро, авиа-*. Собственно, это означает только узаконить их принятое написание.

Или другой пример: в старых правилах сообщалось, что прилагательные, образованные от географических названий типа *Орехово-Зуево, Нью-Йорк* пишутся через дефис: *нью-йоркский, орехово-зуевский*. Но ничего не говорилось о том, как пишутся существительные, образованные от таких названий – через дефис (*орехово-зуевцы*) или слитно (*ореховозуевцы*). Таких примеров было множество. В новых правилах эти пробелы устранены.

В новых правилах предлагается осторожная унификация некоторых написаний, не затрагивающая культурной традиции. В частности, предлагается писать через дефис все сложные слова с первой частью *пол-*, а не только слова, в которых далее следует гласная или *л* (т.е. не только *пол-апельсина, пол-лимона*, но и *пол-мандарина*, не только *пол-одинадцатого*, но и *пол-двенадцатого*). Никакого смысла в противопоставлении дефисных написаний с *пол-* слитным написаниям нет, поэтому прежнее правило так трудно усваивалось учениками. Такая уни-

фикация предлагается в отношении единичных написаний, имеющих в русском языке короткую историю. Устраняя ненужные исключения, авторы расширяют поле действия основных правил и повышают их системность.

Третий принцип правил – простота и ясность формулировок, стремление сделать их более понятными и доступными. Вот, например, правило про одно и два *н* в прилагательных и причастиях. В старых “Правилах” написано: в прилагательных нужно писать одно *н*, в причастиях – два. Между тем вопрос о разграничении прилагательных и причастий очень сложен и не всегда ясен даже для лингвистика. В таком виде правило не может быть применено. Им и не пользовались. А в учебниках фигурировала совсем другая формулировка: если есть приставка или зависимое слово, то пишется два *н* (*зажаренный, жаренный на масле*), если нет – пишется одно *н* (*жареный*). Однако даже в учебниках не говорилось о том, что, независимо от наличия или отсутствия зависимого слова, в причастиях, образованных от глаголов совершенного вида, всегда пишется два *н* (*купленный товар и купленный вчера товар* – в обоих случаях два *н*), а в причастиях, образованных от глаголов несовершенного вида, пишется всегда одно *н* (*вязаный, вяленый*). Недоразумение устраняется, если построить правило не на разграничении прилагательных и причастий, а на видовой принадлежности глагола.

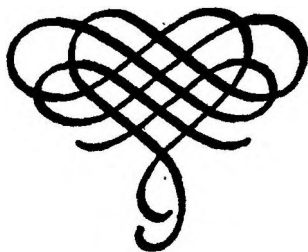
Действующее правило написания сложных прилагательных предписывает: прилагательные с сочинительной связью пишутся через дефис (*политико-административный*), а прилагательные с подчинительной связью пишутся слитно. Но посмотрите, как мы все пишем. С одной стороны, мы пишем слитно *асбестобетонный, нефтегазовый, газопаровой* и т.п., а с другой – пишем через дефис *буржуазно-демократический, военно-исторический, парашютно-десантный, жилищно-кооперативный, научно-исследовательский* и многие другие слова. И поэтому “Орфографический словарь”, вопреки действующему правилу, вынужден был кодифицировать эти написания. Они фиксировались в 13-м издании “Словаря” (1974 г.); потом в 29-м издании (1991) к ним добавились такие “незаконные” написания, как *грузопассажирский, лиководочный, геолого-разведочный, патолого-анатомический, древесно-стружечный* и др. В целом это весьма внушительное количество слов. Стало ясно, что правило, основанное на семантико-синтаксическом принципе, “не работает”, практика письма его не принимает. Интуитивная мотивировка пишущими таких написаний опирается, очевидно, на формально-грамматический критерий. Авторы выявили соответствующие формальные компоненты слов, реально определяющие их слитное или дефисное написание. Новое правило приводится в проекте в качестве изменения старого, но здесь важно подчеркнуть, что сами написания не меняются, меняется формулировка правила.

Вообще в новом издании “Правил” очень мало изменений. В ряде

случаев это не изменения, а уточнения, чаще всего это дополнения к действующим правилам. В половине случаев правила упорядочивают и узаконивают существующую практику письма, расходящуюся со старыми правилами. Это в особенности относится к написанию прописных букв. В "Правилах", в частности, выделен особый важный раздел: "Названия, связанные с религией", в написании которых в основном действуют общие правила употребления прописных букв, однако учитывается и традиция их написания в церковных и религиозных текстах.

Впервые всесторонне и подробно в новом издании будут изложены правила русской пунктуации.

Подготовленное издание "Правил" сейчас обсуждается в Орфографической комиссии и дорабатывается по высказанным замечаниям. Предстоит его дальнейшая научная апробация, после которой "Правила" могли бы увидеть свет. Эти правила, без сомнения, нужны обществу. Они позволят преодолеть разноречие и беспорядок, наметившиеся в современной практике письма и если не обеспечат, то по крайней мере создадут условия для повышения уровня грамотности.





Звериный или зверский?

В.И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

Толкования этих прилагательных, имеющиеся в современных словарях, представляются нам несколько устарелыми и не совсем точными. Да и количество представленных в них значений не одинаково. Так, у прилагательного *звериный* толковые словари указывают от одного (Словарь Ушакова) до четырех (БАС-2) значений, у его паронима *зверский* – от двух (Словарь Ушакова и Словарь Ожегова) до трех (МАС и БАС-2).

Начнем с рассмотрения прилагательного *звериный*. БАС-2 выделяет у него следующие четыре значения:

1. Относящийся к зверю, зверям (в знач.: “дикое животное”).
2. Свойственный зверю; такой, как у зверя.
3. *Перен.* Жестокий, дикий, свирепый.
4. *Перен.* Чрезмерно, невероятно сильный.

В этом толковании вызывает возражения прежде всего формулировка второго значения, поскольку в ней, на наш взгляд, неоправданно совмещены элементы первичного, прямого (“свойственный зверю”) и вторичного, переносного (“такой, как у зверя”) значений. Вероятно, было бы более логично и целесообразно не совмещать, а развести эти элементы и дать следующее толкование первому и второму значениям:

1. Относящийся к зверю, зверям (в знач.: “дикое животное”); присущий, свойственный зверю.
2. *Перен.* Такой, как у зверя.

Выделение этих значений, как и в ранее рассмотренных случаях с другими паронимами, мы напрямую связываем с кругом существительных, сочетающихся с данным прилагательным. Применительно к первому значению это следующие существительные: *морда, шкура, шерсть, клыки, когти, лапы, хвост, повадки, следы, тропа, чутье, нюх, запах, дух, рев, вой, рычание, водопой, инстинкт, потомство, детеныши, нора, клетка и т.д.* Проиллюстрируем сказанное примерами: “Звери рычали и повизгивали во сне, от клеток шел тяжелый *звериный запах*” (Ю. Казаков. Тэдди); “Человеку *звериный рев* всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайших оттенков в рычании” (Там же); “Дрессировка – это наука. Нужно не только

уловить все *звериные инстинкты*, но и объяснить их для себя” (Домашний очаг. 1998. Декабрь); “Отряд Рогова, обмерзший, обтрепанный, изголодавшийся, скрывался на *звериных тропах* от карательных органов” (А. Бек. Курако).

Применительно ко второму значению можно указать такие существительные: *голос, визг, голод, грация, быстрота, злость, чутье, рычание, инстинкт, жадность, выносливость, образ жизни, лапы* и др. В этом случае все словосочетания, образующиеся с перечисленными существительными, относятся не к животному, а к характеристике человека. Поэтому переносное, метафорическое употребление прилагательного *звериный* во втором значении должно найти соответствующее отражение в толковых словарях. При этом некоторые существительные (например, *рычание, чутье, инстинкт, лапы*) входят как в первый, так и во второй список, т.е. могут употребляться с прилагательным *звериный* в прямом и переносном значениях. Приведем ряд примеров:

“Он (отец Олимпий) один умел наполнить своим мощным *звериным голосом* все закоулки старого здания...” (А. Куприн. Анафема); “И ничего бы меня не остановило!.. Никакие угрызения совести, – настолько чувство *звериного голода* завладело мной” (Г. Жженов. Саночки); “Я сжалась, когда мою беззащитную ладонь сграбастала эта *звериная лапа*” (Т. Полякова. Я – ваши неприятности); “Его (Леньки) привыкшее ускользать от опасности, хорониться, спасаться тело обладало бесшумной *звериной грацией*” (Ю. Нагибин. Атаман); “У меня выработалось *звериное чутье*. Я нюхом чувствовал опасность” (П. Вершигора. Люди с чистой совестью); “Раненому Сквозняку прибавит сил *звериная злость*” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “В самую последнюю секунду ребенок оказался мудрее взрослого своим *звериным инстинктом*” (А. Куприн. Звезда Соломона).

С прилагательным *звериный* в третьем, так же переносном значении (“жестокий, дикий, свирепый”) сочетается сравнительно немного существительных: *законы, обычаи, нравы, оскал, ненависть* и др. Например: “Там (в армии) господствовали не человеческие, а *звериные законы*” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “Но во Франции Вася наконец столкнулся со *звериным оскалом* капитализма” (П. Гутинтов. Испанская сюита).

Что же касается четвертого (и тоже переносного) значения, выделяемого БАС-2 (“чрезмерно, невероятно сильный”), то в словаре для его иллюстрации приводятся такие цитаты: “Максим слушал *звериный рев* возбужденной толпы” (В. Закруткин. Сотворение мира); “Дикого, *звериного ужаса* уже не было в его душе” (А. Куприн. Трус). С нашей точки зрения, эти цитаты вполне могли бы иллюстрировать не четвертое, а третье или даже второе значение прилагательного *звериный*. Подтверждением этой мысли может служить и тот факт, что тот же самый

БАС-2 сходную по общему смыслу цитату (“Загорелся невиданный по жестокости бой. Конница белых кидалась в диком, *зверином порыве* на людей, выползших из воды”) приводит для иллюстрации не четвертого, а именно третьего значения этого прилагательного. Во всяком случае, граница между значениями представляется здесь весьма зыбкой и зависит в значительной степени от субъективного понимания контекста. Поэтому мы склонны считать, что при толковании прилагательного *звериный* можно вполне ограничиться тремя значениями (одним прямым и двумя переносными), охватывающими практически все случаи реального словоупотребления этого паронима.

Перейдем к рассмотрению прилагательного *зверский*. Анализируя толкования, имеющиеся в словарях, а также наши собственные материалы, мы пришли к выводу, что можно ограничиться выделением двух значений этого слова, указав при этом смысловой оттенок первого из них:

1. *Перен.* Крайне жестокий, дикий, свирепый; вызывающий чувство страха.
2. *Перен. Разг.* Очень сильный, чрезвычайный в своем проявлении.

В круг существительных, относящихся к первому значению, входят прежде всего такие слова: *преступление, убийство, грабеж, драка, мучения, пытки, истязания, издевательства, изнасилование, обращение, отношение, допрос, расстрел, казнь, расправа* и др. Например: “*Зверское убийство* молодой женщины было совершено в воскресенье около 6 часов на Крестьянской площади” (Моск. комс. 1994. 15 июня); “В училище процветали *зверские драки*, и кислый запах чернил крепко въедался в кожу, в волосы...” (К. Паустовский. Жизнь А. Грина); “*Волна зверских грабежей* прошла по Москве и Московской области быстро и практически бесследно” (П. Дашкова. Никто не заплачет).

Применительно же к смысловому оттенку первого значения можно указать следующие существительные: *наружность, лицо, выражение, обличье, вид, глаза, крик* и некоторые другие. Ср.: “(Аламасов) подчинил Будкова, тоже силача и человека с *зверской наружностью*, но в сущности податливого” (В. Каверин. Семь пар нечистых); “Увидев Нюру, огибавшую полуторку стороной, верзила остановился и уставился на нее *зверскими* своими *глазами* из-под рыжих бровей” (В. Войнович. Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина).

Во втором значении прилагательное *зверский* сочетается с такими существительными, как *аппетит, голод, холод, мороз, жара, усталость, скука, тоска, интуиция, желание* и некоторые другие. Например: “(Семенюта) съедает принесенное блюдо со *зверским аппетитом*...” (А. Куприн. Святая ложь); “Слабый запах хлеба, исходивший от половы, пробудил во мне *зверский голод*” (Ю. Нагибин. Трубка); “Стоял на квартире у них *зверский холод*” (Л. Леонов. Конец мелкого человека); “Не могу сказать, что он (Папанов) был особенно образо-

ван. Скорее – прозорлив, обладал природным умом и *зверской интуицией*” (О. Аросева. Без грима).

Что же касается выделяемого некоторыми словарями прямого значения прилагательного *зверский* (“свойственный зверю”), то оно, на наш взгляд, уже не является актуальным для современного узуса, поскольку вытеснено и фактически “монополизировано” его паронимом *звериный*, а иллюстрации, приводимые в БАС-2 и МАС, выглядят явно устарелыми. В этом случае, аналогично тому, как это проявляется и в других ранее рассмотренных нами случаях, также налицо общая тенденция к семантическому размежеванию и “специализации” паронимов, имеющих синонимические значения.

Тем не менее, как мы видим, в одном переносном значении (“жестокый, дикий, свирепый”) рассматриваемые паронимы фактически все еще остаются синонимами, но при этом, правда, употребляются с разными существительными (см. выше). Впрочем, не исключено, что в процессе дальнейшего семантического разграничения этих слов указанное значение полностью закрепится за прилагательными *зверский*, и тогда мы будем говорить: *зверские законы, зверские обычаи, зверские нравы*.

Кроме прилагательных *звериный* и *зверский*, к данному паронимическому ряду относится еще и прилагательное *зверовой*, имеющее следующее значение: “связанный со зверем, с охотой на зверей”. Круг существительных, сочетающихся с этим прилагательным, включает в себя весьма ограниченное количество слов: *место, тропы, промысел, охота, собака, винтовка, избушка* и некоторые другие. Нам не встретилось примеров с этим словом в современной литературе, что, естественно, связано с его спецификой. Тем не менее приведем несколько примеров, иллюстрирующих его употребление, из БАС-2 и МАС:

“Встречались нам и *зверовые тропы*” (В. Арсеньев. По Уссурийской тайге); “Ехал мужик из Кудрина, ехал со *зверовой собакой*; собака и почуяла что-то недалеко от дороги” (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука); “Проскакали гладкою дорогою верст двадцать и свернули к *зверовой избушке* – зимнику” (В. Шишков. Угрюм-река); “В одной руке у него *винтовка зверовая*, в другой – бичище, свитой из сыромяти” (Е. Пермитин. Первая Любовь).

“ОБИДНАЯ” КАТЕГОРИЯ

Г.В. БОРТНИК,

кандидат филологических наук

Патриархальное общество ограничивало диапазон социальных ролей женщины, особенно женщины “простой” (*Бабья дорога – от нечи до порога*), занижало для нее потолок интеллектуальных и профессиональных показателей. Многовековая неравноправность женщины с мужчиной породила стойкий стереотип: в нравственно-поведенческом отношении женщина может, и даже должна, быть лучше мужчины (например, к словам “бедокур”, “бражник”, “буян” нет женских соответствий), но в сфере социально-профессиональных требований, особенно в тех областях, где необходим высокий уровень научно-теоретических знаний или где традиционно были заняты только мужчины, женщина всегда уступает мужчине.

Язык стал своеобразным хранителем подобных консервативных обобщений, зеркалом, в котором и по сей день мелькают тени домостроевских мужских и женских типажей. Хронические рецидивы косных воззрений дают о себе знать тем, что, во-первых, от слов со значением “ученый” (*биохимик, германист, теоретик, философ* и т.п.) или “деятель культуры” (*дирижер, романист, сатирик, скульптор* и т.п.) существительные женского рода не образуются, во-вторых, многие производные существительные женского рода, называющие лиц по профессии, общественному положению, политическим ориентациям, сужая, “ухудшают” значение, унаследованное от существительных мужского рода (*директор – директриса, торговец – торговка* и т.п.), или модифицируют значение в сторону понижения профессионального либо социального статуса (*биолог – ученый, биологичка – учительница; инженер – специалист, инженерша – жена инженера* и т.п.), в-третьих, многозначные производные женского рода упрощают свою семантическую структуру (*учитель* 1. Преподаватель. 2. Человек, являющийся высоким авторитетом в какой-либо области; *учительница – женск. к учитель* в 1 знач.).

Отмеченные семантические трансформации закономерно приводят к снижению стилистической характеристики производных женского рода. Ср.: *автор – авторша* (разг.), *врач – врачиха* (прост.).

Указанные смысловые нюансы по-разному осознаются и оцениваются конкретными языковыми личностями. Однако чем шире культурный кругозор, чем выше образованность и языковое развитие чело-

века, тем последовательнее и осознаннее он отказывается от слов “аспирантка”, “делегатка”, “депутатка” и т.п. в ситуациях безоценочной номинации.

Известно, что Анна Ахматова «терпеть не могла, когда ее называли “поэтесса”. Гневалась: “Я – поэт”» (Н. Ильина. Дороги и судьбы. М., 1988. С. 335). Уже в раннем стихотворении Марина Цветаева написала: “... Что и не знала я, что я – поэт”. А вот Ирина Одоевцева, в своих первых поэтических опытах раскритикованная Николаем Гумилевым, намеренно подчеркнула свою “женскость”:

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Хотя Александру Маринину, автора ныне широко известных детективов, было бы некорректно сопоставлять с поэтами Ахматовой, Цветаевой, Одоевцевой, для наших заметок интересна позиция и современного литератора-женщины. Эта позиция просматривается в следующем отрывке из романа “Игра на чужом поле”: “А здесь Настя опять оказалась на чужом поле, на котором играли в привычную игру по старым правилам: баба – не человек, и в уголовном розыске ей делать нечего. Женщина никогда, ни при каких условиях не может оказаться умнее мужчины, поэтому умственную часть розыскной работы она никогда лучше мужика-опера не сделает, а уж про физическую и говорить нечего. Человечество, в том числе и отдельные его представители-розыскники, уже давно поняло всю глупость и неудобность давным-давно придуманных правил, но моральных сил проломить собственной глупостью возведенные когда-то барьеры пока не находит”.

В судебной практике наших дней известны случаи, когда депутаты-женщины обращались в суды с исковыми заявлениями, в которых расценивали адресованные им в газетных публикациях слова “депутатка”, “избранница” и подобные как оскорбительные.

В строгой официально-деловой речи современная стилистика рекомендует избегать агентивных номинаций женского рода наподобие *сотрудница* и даже *бетонищица*.

Вероятно, приведенные примеры свидетельствуют о неудачности той попытки, которая была предпринята в 20–30-е годы. Тогда в русском языке появилось немало производных женского рода от агентивных существительных мужского рода. Эти производные рождались в речи тех, кто в митинговых выступлениях, в полемической публицистике, идеологизированных научных статьях пропагандировал и доказывал идею о равноправии советских женщин с мужчинами.

Пополнению класса агентивных существительных женского рода

способствовали и экстралингвистические факторы. В годы первых пятилеток в стране появилось много выдающихся женщин-профессионалов, прославивших себя открытиями в науке, рекордами в традиционном мужских видах деятельности. О рекордсменках и ученых немало говорилось и писалось с подчеркиванием их “женскости”. Однако постепенно сложилась практика плановых рекордов. В отчетах стали фигурировать “женские” проценты. Нередко эти проценты искусственно завышали, поддерживали “на должном уровне”.

Толковый словарь Ушакова, вышедший с 1935 по 1940 гг., зафиксировал значительное число неологизмов, обозначающих женщину по профессии, общественному положению, политической принадлежности. И все-таки даже самый авторитетный словарь не способен коренным образом перестроить общественное сознание, переписать в большей мере мужскую картину мира, которая в своих основных чертах была намечена еще в период патриархата.

Знаменательно, что даже во времена увлечения существительными женского рода со значением “профессионал” не появилось женских соответствий к тем существительным мужского рода, которые обозначали лицо по выдающимся интеллектуальным либо профессиональным, а также организаторским способностям. Например, не было (и до сих пор не появилось) производных женского рода от слов *ас*, *авторитет*, *гений*, *умелец*, *универсал* и т.д. В почетных званиях: *лауреат*, *дипломант*, *гроссмейстер*, *мастер спорта* и т.д., а уж тем паче *Герой Советского Союза* – даже в просторечии не встречалась форма женского рода. Не возникло и слов женского рода для обозначения представительниц творческих профессий, к примеру таких, как *анималист*, *документалист*, *режиссер* и т.п. А, предположим, название ансамбля “Виртуозки Москвы” даже с самым звездным составом скорее бы рассмешило, отпугнуло, чем привлекло. Показательно, что нет производных женского рода не только от существительных *вождь* или *политик*, но и даже *профорг*.

Полнофункциональная жизнь большинства существительных женского рода, обозначающих женщину по профессии, общественно-политической принадлежности, либо не состоялась, либо оказалась недолгой. Отдельные слова вообще можно назвать мертворожденными. Довольно быстро и последовательно многие женские номинации стали квалифицироваться как разговорные и даже просторечные.

Свою былую нейтральность сохранили до наших дней лишь те из агентивных существительных женского рода, которые относятся к сферам профессиональной деятельности, где востребованы биологические различия полов, где изначально не было конкуренции женщин с мужчинами и профессиональная состязательность ограничена рамками, так сказать, амплуа и ведется в их пределах: *актер* – *актриса*, *певец* – *певица*, *танцор* – *танцовка*, *легкоатлет* – *легкоатлетка*.

Сегодня, когда, в отличие от 20–30-годов, женский вопрос перестал быть злободневным, женщины-профессионалы для утверждения себя в социально значимых областях все меньше нуждаются в каких бы то ни было “вспомоществованиях”, в том числе и таких специфических, как языковые категории. Поэтому в современном русском языке статус лексико-грамматической категории рода у существительных вроде *врач*, *директор* и т.п. изменился и оказался разным в обиходно-бытовой и официально-деловой речи. Если в обиходно-бытовой речи все еще сохраняется возникшее в 20-е годы согласование по смыслу (*молодая врач*), выпячивающее “женскость”, то в строгой официальной речи подобное является отступлением от норм литературного языка.

В официально-деловой речи лексико-грамматическая категория рода у агентивных существительных не актуализирует свою лексическую составляющую и не дифференцирует лиц по полу. Оно и понятно. В сфере официально-делового общения важны прежде всего объективные социальные грани личности, потому здесь желательна родо-половая индифферентность агентивных номинаций. (Кстати сказать, этим и объясняется недопустимость не только в обстановке официально-деловой коммуникации, но и в любой другой использования в качестве обращений слов “мужчина” и “женщина”, ибо эти слова предельно обнажены в своей обезличенной биологичности и оскорбительно низводят человека до уровня живого существа.)

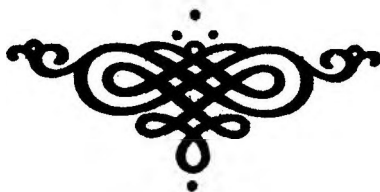
В наше время отчетливо проявляют себя две тенденции: чем более натуралистичной делается массовая культура и ее языковые эквиваленты, тем последовательнее табуируется и эвфемизируется традиционной культурой и языковой нормой все связанное с телесностью.

Чем выше уровень притязаний личности, тем более важными для нее становятся не предопределенные природой, а благоприобретенные профессионально-гражданские роли. Для деловых женщин, добившихся успехов и общественного признания, номинации, подчеркивающие “женскость”, акцентирующие пол, обидны и даже оскорбительны. Эти номинации за счет исторических аналогий и системных проекций снисходительно определяют заниженную норму социально-профессиональных требований и для эмансипированной женщины, а тем самым преуменьшают ее достижения, в общественной иерархии отводят ей место ниже того, которое она заслуженно занимает.

Язык – система динамичная и сложная. Потому обращаться со всем, что есть в языке, должно со знанием дела, аккуратно, дабы не ранить, не оскорбить кого-нибудь неграмотным словом.

Брянск

К 125-летию со дня рождения



Григорий Андреевич Ильинский
(1876–1937)

Григорий Андреевич Ильинский – выдающийся отечественный ученый-славист, член-корреспондент Академии наук, издатель старославянских и древнеславянских текстов, этимолог, лексиколог, лексикограф и библиограф – родился 11 марта 1876 г. в Петербурге, а трагически погиб в 1937 г. в Томске, где был расстрелян как “враг народа”. Ему многое довелось пережить на своем веку – Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, тревожные тридцатые годы. Он знал триумф славы и горечь одиночества, когда друзья и коллеги в конце его жизни для собственной безопасности отвернулись от него. Но его жизнь до краев была наполнена творчеством, он спешил работать и жить, как будто предчувствуя, что судьба отмерила ему небольшой срок.

Мысль о том, что “жизнь человеческая коротка, а жатва обильна, потерянное же время смерти невозвратной подобно” (из письма Б.М. Ляпунову 1928 г.) заставляла ученого работать с удвоенной силой. Иногда такая скорость приводила к неудачам, как это случилось с его первой книгой “О некоторых архаизмах и новообразованиях праславянского языка. Морфологические этюды”, вышедшей в Праге в 1902 г., которую он поторопился издать, в связи с чем эта книга получила неоднозначную оценку в научных кругах. Однако сам Г.А. Ильинский отмечал, что привык работать “волнуясь и спеша”. За годы своей научной деятельности он опубликовал более 500 работ, которые выходили в русских и зарубежных изданиях, но значительная часть его трудов по не зависящим от него причинам осталась неизданной. Это очень тревожило ученого. По его письмам видно, что, даже находясь в ссылке, он переживает за судьбу тех своих работ, которые не успел опубликовать.

Г.А. Ильинский окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где он занимался под руководством известных ученых – В.И. Ламанского и С.К. Булича. Уже его студенческая работа “Орбельская триодь” была удостоена золотой университетской

медали. На молодого ученого обратил внимание А.А. Шахматов и до конца своей жизни оказывал Ильинскому поддержку и помощь. А.А. Шахматов пригласил Ильинского к сотрудничеству над академическим "Словарем русского языка".

Командировки в славянские страны, Германию и Австро-Венгрию значительно пополнили научный багаж молодого слависта. Он много занимался в рукописных хранилищах Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, изучал славянские языки и древнеславянские рукописи в Загребе, Любляне, Белграде и Софии. Ему принадлежит программная статья "Что такое славянская филология?" (Саратов, 1923 г.), черновик которой хранится в Рукописном отделе ИРЯ РАН. В ней ученый дал определение этой науки, не утратившее своего значения до наших дней, и доказывал важность славянской филологии для славянского национального самосознания.

Г.А. Ильинский является автором всемирно известной работы "Грамоты болгарских царей" (М., 1911), за которую он был награжден Ломоносовской премией. Трудом его жизни явилась "Праславянская грамматика", вышедшая в Нежине в 1916 г. и отмеченная Толстовской премией и золотой медалью АН, однако ее автор был лишен возможности увидеть второе издание книги, над которым интенсивно работал в 30-е годы. Г.А. Ильинский положил основу составлению кирилло-мефодиевской библиографии, опубликовав в Софии в 1934 г. "Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии". Впоследствии этот труд был продолжен учеными-славистами.

Особо следует сказать о научно-педагогической деятельности ученого, которая началась с 1904 года, когда Ильинский был назначен приват-доцентом Петербургского университета. Его первым университетским курсом был "Очерк истории изучения церковнославянского языка". Затем он преподавал в Харьковском университете, в 1909 г. был избран профессором Нежинского историко-филологического института, читал лекции на Высших женских курсах в Киеве. Революция застала его в Юрьевском университете. Голод и разруху гражданской войны он стойко переносил сначала в Воронеже, а потом в Саратове, где с 1920 по 1926 г. был профессором на кафедре славянской филологии.

О тяжелых условиях, в которых оказались в этот период русские ученые, можно судить по письмам Г.А. Ильинского П.К. Симони и А.А. Шахматову. В первом из них, от 15 марта 1919 г., он обращается с просьбой к П.К. Симони: "Отделение Р[усского] яз[ыка] по сл[овесности] еще перед Рождеством оказало мне высокую, хотя и мало заслуженную мною честь, назначив мне за мою Праслав[янскую] Грамматику Толстовскую премию и поч[етную] золотую медаль. Если технические условия позволяют это сделать, то я был бы Вам глубоко благодарен, если бы Вы нашли возможным выслать мою премию по моему

вышеознач[енному] саратов[кому] адресу. Конечно, вместо медали я готов удовлетвориться ее номинальной стоймостью” (Отдел письменных источников ГИМа. Ф. 37. Ед. хр. 49). А в письме А.А. Шахматову от 20 апреля 1920 г. он описывает свой быт следующим образом: “Мы пережили здесь ужасную зиму. Лишь немногие счастливицы жили дома в температуре выше 9–10°. По вечерам сидели бы в полном мраке, если бы университету не удалось добыть для своих служащих небольшое количество керосина. Цены на продукты скачут вверх: пуд муки стоит уже около 5000 р., фунт масла около 2000, яйца ок[оло] 700 десятков и т.д. Но, вероятно, все же это детская игра сравнительно с тем, что происходит в Петрограде” (СПб. отделение Архива РАН. Ф. 134. Оп. 3. Ед. хр. 606. Л. 130).

Новый переезд ученого, на этот раз в Казань, где он стал преподавателем Восточного педагогического института, был связан в большой степени с тем, что он не мог полноценно работать без необходимой научной литературы, а Саратов, как сам он отмечал в письме В.А. Богородицкому, представлял в то время “для лингвиста настоящую Сахару в книжном отношении”.

Однако в Казани Г.А. Ильинский проработал недолго, так как был приглашен в Московский университет. С осени 1927 г. он профессор кафедры славистики I-го МГУ, откуда в 1930 г. был вынужден уйти на пенсию в связи с резким сокращением курса славистических дисциплин. В 1934 г. он был арестован по “делу славистов”, отправлен в заключение на Соловки, а позднее – на поселение: сначала в Славгород, затем в Томск, где и закончил свой жизненный путь. (История этого “дела славистов”, жертвами которого стали Н.Н. Дурново, М.Н. Сперанский, В.Н. Перетц, А.М. Селищев, В.В. Виноградов и др. ученые, подробно описана в книге Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова «“Дело славистов”: 30-е годы». М., 1994.)

Как всякий принципиальный и сильный человек, Г.А. Ильинский имел недоброжелателей и врагов, но через всю его жизнь проходит удивительная дружба с академиком Б.М. Ляпуновым, постоянная поддержка и бескорыстная помощь которого позволяла не впасть в отчаяние в самые тяжелые моменты его жизни. Б.М. Ляпунов всегда помогал своему другу и словом, и делом. В период гонений на Ильинского сторонников Н.Я. Марра Ляпунов не побоялся первым поставить свою подпись под “Запиской об ученых трудах проф. Гр. А. Ильинского”, в которой он в 1930 г. совместно с академиками Е.Ф. Карским, В.Н. Перетцем и В.М. Истриным выдвигал ученого в действительные члены Академии Наук СССР. И даже после ареста Ильинского по нелепому обвинению в принадлежности к так называемой “Российской национальной партии” и последовавших за этим арестом заключения и высылки на поселение Ляпунов не отвернулся от своего опального друга. Он продолжал переписываться с ним, мало того, хлопотал об издании

неопубликованной статьи ученого, предлагал высылать ему в Томск новинки научной литературы.

Нельзя без боли и волнения читать последние письма Г.А. Ильинского (даже почерк в них изменился). В них лишь глухое упоминание о личной трагедии ("Ваше внимание ко мне тем дороже, чем глубже и незаслуженнее постигшее меня несчастье") и невыразимая горечь от потерь в среде ученых-славистов, о которых он узнавал из писем Ляпунова, и искренняя, но последняя благодарность своему другу: "Радуюсь, что Вы, несмотря на Ваши преклонные годы, с прежней энергией продолжаете Вашу научную деятельность, но искренне сожалею, что успеху чужих работ Вы так самоотверженно приносите в жертву интересы собственные" (СПб. отделение Архива РАН. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 117. Л. 399).

Г.А. Ильинский был одним из тех отечественных языковедов, которых всегда отличала активная гражданская позиция, убежденность в правоте выбранного научного и жизненного пути. Избранный в 1921 г. членом-корреспондентом РАН, он так и не стал ее академиком, так как не сумел и не захотел перестроиться и воспринять яфетическую теорию Марра, над которой, как он пишет, "в нормальное время... все смеялись бы, и только в наше фантастическое время ею могут не только восторгаться, но даже выставять ее как своего рода лингвистическое православие!" (СПб. отделение Архива РАН. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 117. Л. 207). Он остался на позициях сравнительно-исторического метода в науке о языке, которому остался верен до конца своей жизни. В связи с разгромом славистики в Московском государственном университете, когда, по его словам, начался "великий поход" против нейтральности и аполитичности научных работников, он находит в себе силы и мужество, чтобы добровольно подать в отставку и уйти на пенсию.

Резко отрицательно относясь к яфетической теории Марра, ставшего главой марксистской лингвистической науки, Ильинский дорого заплатил за эту бескомпромиссность: крупнейшие его работы 30-х годов остались неизданными. Это уже упоминавшееся второе издание "Православянской грамматики", в работе над которым ему активно помогал Ляпунов. Другой капитальный труд Ильинского – "Этимологический словарь славянских языков" в настоящее время утрачен (сохранились лишь начальные буквы А–Б), которые хранятся в Отделе рукописей ИРЯ РАН (Ф. 13). Неизвестна судьба еще одной работы ученого – "Библиографического обзора среднеболгарских рукописей XII–XVIII вв."

В Рукописном отделе Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН хранится большая неизданная работа Г.А. Ильинского по истории русского языка (ее вероятное название "Введение в историю русского языка" (Ф. 13, № 21, 26). Предполагается, что это работа, на-

писанная ученым в 20-е годы в Саратове и считавшаяся ранее утраченной (См.: Русская речь. 1991. № 2). В условиях гражданской войны, породившей сепаратистские настроения на Украине и в Белоруссии, Г.А. Ильинский, горячий патриот своей страны, доказывал в своей работе общее происхождение трех народов – русского, украинского и белорусского, что подтверждал существованием единого языкового источника – “православнославянского” языка. Историю русского языка в этой связи Ильинский рассматривал в тесном взаимодействии с историей двух других родственных языков – украинского и белорусского, посвятив им отдельные главы своего исследования. Ученый был занят поиском того, что на протяжении веков объединяло восточных славян.

В работе подчеркивается, что даже в самые драматические моменты русской истории (период феодальной раздробленности, татаро-монгольское иго) русская нация как таковая не переставала существовать, ибо объединительные силы в стране были всегда сильнее тех сил, которые стремились разорвать это единство.

Примечательно, что научные взгляды и интересы Ильинского отличались редким постоянством. Основными направлениями его деятельности были издание, изучение и всестороннее описание памятников древнеболгарского, сербского, древнерусского, и старославянского языков, сравнительно-историческое изучение славянских языков и, наконец, историческая лексикология и этимология. Возведение современных диалектных различий к праязыку является характерной особенностью сравнительно-исторических и лексикологических исследований ученого. Эту методологическую черту лингвистического наследия Ильинского отмечал исследователь его творчества В.К. Журавлев (См.: Журавлев В.К. Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937). М., 1962. С. 15).

Г.А. Ильинский снискал себе славу как образцовый издатель старославянских и древнеславянских рукописей. В то же время его работы по изданию древнерусских рукописей так и остались неизвестными научной общественности, так как не были опубликованы и хранятся в настоящее время в Рукописном отделе ИРЯ РАН. Это Юрьевская (Мстиславова) грамота 1130 г. и Хутынская грамота до 1192 г. (ф. 13, № 23). Эти издания построены по определенному образцу: сначала дается история открытия и изучения памятника, затем критика предшествующих изданий, за которой следует публикация текста. Далее следуют палеографический анализ рукописи и исследование ее графико-орфографических особенностей (описывается ее внешний вид, употребление и начертание букв, являющиеся датирующими признаками, наличие выносных, сокращений и т.п.). После этого дается описание фонетических и морфологических особенностей издаваемой рукописи, анализируется лексика памятника, следуют историко-юридические и в ряде случаев географические комментарии. В конце издания находится Указатель слов и форм.

Статья о Юрьевской грамоте открывается историей ее находки: "Грамота в.к. Мстислава была открыта еп. Евгением в куче гнилых архивных бумаг Юрьева монастыря в тот момент, когда один из его иноков вез ее, вместе с разным другим сором и хламом, на берег Волхова, чтобы спустить ее в эту многоводную реку." Далее идет критический обзор всех ее существовавших изданий (от первых публикаций Озерецковского (1808 г.), митрополита Евгения (1818 г.) и И.И. Срезневского (1863 г.) до изданий Н.А. Маркса, Н.М. Каринского и Н.Н. Дурново. Затем следуют текст самой грамоты, палеографические примечания к ней, замечания о ее языке и, наконец, историко-юридическое значение грамоты. В конце приводится Указатель слов и форм.

В грамоте упоминаются три исторических лица, которые детально охарактеризованы издателем: это великий князь Мстислав Владимирович, его сын новгородский князь Всеволод Мстиславич и игумен Юрьевского монастыря Исаия. Сопоставляя некоторые даты из их жизни, Ильинский приходит к выводу о времени написания памятника — 1130 год.

Содержание грамоты состоит в перечне вкладов, сделанных в монастырь его основателем Мстиславом и наместником его Всеволодом. Ильинский приводит значения слов *дань*, *вира*, *продажа* и определяет семантику этих слов следующим образом: *дань* — "подать, которая собиралась и доставлялась общиной волости", *вира* — "пеня за уголовное преступление, особенно за убийство", *продажа* — "штраф, поступающий за нарушение вещного права и за личные оскорбления". Кроме того, издатель останавливается на значении выражения *осеннее даровное полюдие* — "дары, которые давало население князю при объезде им волости". Чтобы полнее раскрыть это понятие, Ильинский приводит цитату из сочинения Константина Багрянородного "De administrando imperio", в котором тот описывает полюдие: "Когда наступает ноябрь месяц, тотчас выходят их (т.е. россов) князья и отправляются в полюдие, которое называют гирой (т.е. объездом), и именно в славянские страны тиверцев, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, которые платят дань россам. Они кормятся тем в течение целой зимы".

Чтобы пояснить назначение вклада Всеволода, который присоединил в качестве дара серебряное блюдо в 30 гривен весом, Ильинский приводит высказывание П.С. Казанского: «По уставу студийскому, записанному патриархом константинопольским Алексеем между 1023 и 1040 гг. для основанного им Богородичного монастыря и введенному преп. Феодосием в Печерском монастыре, было узаконено: "Как скоро принесится на трапезу иноков блюдо с пищею, оно ставится на краю, и старший из братии ударяет в него большою лжицею. Чтец умолкает, и старший из братии возглашает громко: "Господи, благослови! Помолимся!" Все встают, поставленное кушанье благословляют, и тогда начинают вслед за игуменом есть поставленное». Попутно Ильинский от-

мечает, что “это драгоценное произведение искусства исчезло из ризницы Юрьевского монастыря еще задолго до открытия интересующей нас грамоты”. Наконец, из юридической терминологии в издании Ильинского рассмотрено значение выражения *въно вотское*, по поводу которого разными учеными высказывались самые разнообразные предположения и которое по-разному читалось издателями грамоты. Ильинский предлагает читать его как *въно во(т)ское* и определяет его как “откуп, платимый финским племенем водою”.

Другая грамота, подготовленная к изданию ученым, – Хутынская, до 1192 г., вкладная преп. Варлаама в основанный им монастырь Спаса Преображения, который расположен в Хутыни, в 10 верстах от Новгорода. Ильинский отмечает, что впервые о ней сообщает архим. Амвросий, который был ее первым издателем. Далее критически рассмотрены другие издания грамоты: И.И. Срезневским, А.И. Смирновым, Н.А. Марксом, Н.Н. Дурново. Ильинский видит в грамоте “и драгоценные особенности ее языка, и запечатленные в ней отголоски юридического быта старой Руси”. К тексту публикуемой грамоты ученый дает Указатель слов и форм, подобный тому, как это сделано им для текста Юрьевской грамоты. Переходя к анализу языка рукописи, он указывает на особенности консонантизма, являющиеся следствием новгородского диалекта: “сохранение праславянского *х* в *вхоу*, цоканье”. Однако основное внимание он уделяет историко-юридическому значению грамоты, анализу ее терминологии. Подробно рассматривая вклады Варлаама, Ильинский определяет значения таких слов, как *рьль*, *корь*. В лексикографических изысканиях ученого и здесь чувствуется этимолог: корень слова *рьль* он возводит к низшей ступени пракорня **roi* – (течь), откуда *roika* > *reka*, а само слово *рьль*, по его мнению, обозначает “поемный луг за Волховом”. Слово *корь* он возводит к праславянскому слову *kyrbь*, дает ссылку на другие славянские языки (польск. *kierz*, *kizak*), отмечает, что в некоторых русских говорах слово *корь* до сих пор употребляется в значении “корень”: *сидеть на корю* – “пребывать в насиженном месте”.

Таким образом, анализируя лексику грамот, Ильинский вскрывает социальные отношения, существовавшие в древнерусском обществе, на конкретных примерах показывает быт и культуру наших предков.

Указатели слов и форм к изданиям памятников играют важную роль в отечественной лексикографии, так как они являются тем фундаментом, на котором во многом строится современная историческая лексикография.

Следует отметить, что характерной чертой работ Ильинского по истории русского языка является показ связи истории русского языка с национальной и культурной средой народа-носителя этого языка. В этом отношении примечательна 1-я глава уже упоминавшейся неопубликованной работы ученого “Введение в историю русского язы-

ка”, в которой он отмечал, что “кроме задач чисто лингвистических наша наука преследует и другие цели, которые точнее всего мы могли бы определить как культурно-этнологические. В самом деле, если, как мы видели, современный лингвист изучает язык в самой тесной связи с национальной и культурной средой народа – носителя этого языка, то специальное историческое изучение последнего должно бросить самый яркий свет на многие проблемы истории русского народа вообще”. Таким образом, ученый стремился к созданию научной системы истории русской культуры, составными частями которой должны были стать история языка, история литературы и история народа.

Славянская этимология по праву занимала ведущее место в научных интересах Г.А. Ильинского. На протяжении всей своей жизни ученый писал этимологические очерки. Им было составлено более 200 этимологий, появившихся в виде отдельных статей. Итогом этих исследований Ильинского должен был стать составленный им, по-видимому, в 30-е годы Этимологический словарь славянских языков. Важность работы такого рода была подчеркнута на I съезде славистов (Прага, 1929 г.).

Отмечая богатство этого словаря и вклад Г.А. Ильинского в этимологическое изучение слов, О.Н. Трубачев писал: “Знание лексики в соединении с универсальностью научных интересов, с поразительной осведомленностью Г.А. Ильинского в специальной литературе и вообще в литературе, в текстах на славянских языках и диалектах придают высокую познавательную ценность его этимологиям” (О.Н. Трубачев: Этимологический словарь славянских языков Г.А. Ильинского // Вопросы языкознания. М., 1957. № 6. С. 91).

Заканчивая статью о Г.А. Ильинском, в которой нам хотелось показать его не только как ученого, но и как человека, жившего в науке и для науки, следует отметить одну, возможно, наиболее привлекательную сторону его творчества. Ученый всегда стремился к тому, чтобы результаты науки, которой он занимался, не были отвлеченными, но целиком входили в русское народное самосознание. Возможно, именно поэтому его работы в наше время по-прежнему остаются актуальными.

В приложении к очерку мы публикуем письма (и их фрагменты), написанные Г.А. Ильинским в разные годы выдающимся отечественным языковедом А.А. Шахматову и Б.М. Ляпунову и хранящиеся в СПб. отделении Архива РАН.

Из писем А.А. Шахматову

[Прага, 1902 г.]

Глубокоуважаемый Алексей Александрович!

На днях я послал Вам, наконец, свою книжку¹, в которой пришлось вырезать несколько страниц и, вследствие этого, задержать ее выход. Вместо ожидаемой радости, испытываю страх за ее будущую судьбу в критике. Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы откровенно со временем высказали свое мнение о моих этюдах. От суммы благоприятных или неблагоприятных отзывов будет зависеть, решусь ли я представить в факультет свою книжку как маг[истерскую] диссертацию. Самому мне (говоря совершенно откровенно) представляется она то очень слабой, то очень хорошей, – без середины!

Позвольте поблагодарить Вас от души за совет составить Очерк чешской диалектологии. Я сам думал об этом, и Ваша мысль заставила меня окончательно и решительно приступить к труду. Он будет, конечно, компилятивным. Наиболее хлопот доставляет мне определение этнографической границы чешского племени: у чехов нет ни одной сколько-нибудь подробной этнографической карты. Несколько опасаясь также своей классификации чешских говоров. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы сообщили мне Ваши соображения на этот счет. В настоящее время я уже оканчиваю “введение” к этому очерку, содержащему кроме перечня главнейших особенностей чехословацкого языка определение этногр[афических] его границ (в чем мне немало помог Нидерле, составивший черные карту славянск[их] народностей для своей будущей Слав[янской] Этнографии) и классификацию говоров. Если позволите, я пришлю Вам Введение на Ваш суд: неправильность основной точки зрения может губительно отразиться в распределении материала {...}

В Праге меня задерживает теперь одна семинарная работа у Гебауэра: я должен списать и описать одно неподлинное сочинение Фомы Штитного “Корабль Ноя”. Эту работу я кончаю в начале будущей недели, после чего должен ехать в Лейпциг на весь весенний семестр (т.е. до начала августа). Буду слушать там лекции Бругманна, Шрота, Лескина и изучать то многое, что мне еще неизвестно в литер[атуре] сравнит[ельного] языкознания. По приезде в Лейпциг напишу Вам письмо с сильной характеристикой пражских профессоров и способов их преподавания. Если диссертация моя пройдет в факультете, то я надеюсь приехать в Петербург в апреле или мае месяце на диспут. Сочувственные письма мне прислали пока только Гирт и Бернекер.

Искренне преданный
и благодарный Г. Ильинский

Вена, 8 ноября

Глубокоуважаемый Алексей Александрович!

Прежде всего извиняюсь за мое долгое молчание. Оно вызвано, главным образом, тем, что я был очень смущен неудачей моей книги и даже вообразил, что все должны отшатнуться от меня, в особенности после рец[ензии] Ягича в ASPh². Чтобы реабилитироваться, начал печатать новую книжку, на которую и возлагаю все свои упования. Ее тема – всесторонние исследования окончаний род.п. мест. в славянских языках. 4 листа уже отпечатано, осталось еще 6. Надеюсь выпустить книгу не позже января. С.М. Кульбакин также печатает свою диссертацию, и мы взаимно читаем друг у друга корректуры. Я почти уверен, глубокоуважаемый Алексей Александрович, что Вы не одобрите мое упорство, так как, вероятно, считаете эту тему безнадежной. Но я должен так поступить, чтобы потом иметь право сказать *fui quod potui*, а в своей первой книге я сделал сам все, чтоб дискредитировать свою же теорию.

Здесь я живу уже с 1 авг[уста]. Весь весенний семестр, как Вы уже знаете, я провел в Лейпциге, изучая сравнительное языкознание и в особенности литовский язык. Сильно расширил свой научный горизонт и убедился, что нельзя изучать праславянский язык, а следовательно в знач[ительной] степени и современные слав[янские] языки, не имея более или менее детальных сведений об отдельных индоевроп[ейских] языках. В чем сила германских лингвистов, как не в том, что каждый из них имеет превосходную общую сравнительно-лингвистич[ескую] подготовку.

В Вене посещаю лекции Ягича и других славистов (...) Командировка моя кончается 1 апр[еля]. Последние пять ее месяцев я надеюсь провести на славянском юге. (...)

Все лето я работал по Вашему совету над чешской диалектологией. К сожалению, собственно чешские говоры так мало разработаны, что посвященная им часть выходит до смешного маленькой в сравнении с моравскими говорами.

Был бы очень счастлив получить от Вас письмо.

С.М. Кульбакин просит засвидетельствовать перед Вами свое глубокое уважение.

Искренне преданный
Г. Ильинский

Люблина, 18 янв. 1903
Poljanska cesta, 24

Глубокоуважаемый Алексей Александрович,

опять я должен извиняться перед Вами за долгое молчание на Ваше доброе письмо. Все сидел над своей новой книгой, которой допечатыва-

ются теперь последние листы. Через недели 3 я надеюсь уже доставить Вам ее. Чем ближе она подвигается к концу, тем все более жутко делается ее выпускать. Вероятно, Вы скептически смотрите на нее и, может быть, даже заранее ставите над ней крест, но я надеюсь, что она будет хоть относительно лучше первой и будет полезна, по крайней мере, как *fermentum cognitionis et cogitationis*³. Как мало можно доказать что-нибудь точно в нашей науке, особенно в вопросах праславянского языка!

Здесь я уже со 2 января: предполагаю пробыть тут еще не меньше 2 или 3 недель. Описываю в Лицейской библиотеке рукописи Копитара, исследованные Воскресенским далеко не в полном числе. Кроме того, прислушиваюсь к словенскому языку и перечитываю то, что мне еще неизвестно из его литературы. Я был бы очень рад, если бы мог быть для Вас полезен какими-нибудь справками, напр[имер] выписками из ст[атей] Шейнига.

Любляна – совсем маленький город с 35 т[ысячами] жителей, из которых 30 т[ысяч] – словенцы. Общественная и научная жизнь в сравнении с пражской донельзя вялая: во всем городе нет ни одного филологического общества, и библиотеки не имеют самых важных и распространенных книг (...)

Из Любляны поеду в Загреб, Белград и Софию; к сожалению, в каждом из этих городов придется побывать только по месяцу, и притом с соблюдением строжайшей экономии. Главные же мои мечты касаются в настоящее время диспута.

Был бы очень благодарен, если бы Вы на досуге нашли возможным черкнуть мне хоть несколько строк.

Искренне преданный
Г. Ильинский

Из писем Б.М. Ляпунову

Саратов
23 сентября 1920 г.

(...) Вы спрашиваете о судьбе имения Шахматова. Но не успел я ответить на Ваш вопрос (усадьба А.А. Шахматова разорена дотла), как в Саратов пришло потрясающее известие о неожиданной смерти его самого (от заворота кишок). Да! Потрясающее! Потерять такого человека, который всегда был добрым гением для многих начинающих и начинающих ученых и который почти ежегодно обогащал нашу науку высокоталантливыми исследованиями, значит потерять почти родного человека. Как пусто стало после него в нашей науке! Синодик погиб-

ших славистов делается бесконечным и, кажется, скоро нам не для кого будет работать!

⟨...⟩ По карточкам хлеб выдают лишь в размере 3/8 фунта в день, рыночные же цены его достигли уже 300 р. Жалованье задерживают по целым неделям, но и то, что выдается, совершенно недостаточно вследствие падения стоимости денег. На 200 руб. здесь ничего не купить, разве 1 яйца или помидора. Дров у нас нет, почему на приближающуюся зиму я смотрю с ужасом и буду считать чудом, если еще раз в жизни дождусь весеннего солнца, хотя бы в буквальном смысле этого слова. ⟨...⟩

Москва 19.III-21

Долгий 17, кв. 3

Дорогой Борис Михайлович!

Спешу принести Вам мою глубочайшую благодарность за два Ваши письма (от 28 и 30.III), которые принесли новые доказательства, с какой самоотверженностью Вы защищаете, как Вы справедливо выразились, наше общее дело. Я почти до слез тронут Вашим участием. Только Вы один и поддерживаете меня... Другие академики, члены б. От[деления] р[усского] яз[ыка], стоят в стороне или умывают руки. Даже Е.Ф. Карский (чего никак от него не ожидал) головою выдал меня Марру, забывая, что у этого человека решает дело не логика и не наука, а темперамент или черт знает еще что!

Вероятно, благодаря Вашему вмешательству судьба П[раславянской] Г[рамматики] оказалась теперь в руках гораздо более объективного человека, чем Н.Я. Марр. Но я не могу, все-таки, скрыть перед Вами своего удивления, почему РИСО [Редакционно-издательский совет АН. – Г.Б.], несмотря на то, что АН числит среди своих членов высокоавторитетных славистов-лингвистов, обращается за консультациями к специалисту по д[ревне]-русс[кой] л[итерату]ре, и еще более удивляет, что сей последний, в свою очередь, будет совещаться в Москве не со славистами (напр[имер], А.М. Селищевым), а с румынистом Сергиевским. По-видимому, хотят хоть в лупу найти в П[раславянской] Г[рамматике] что-ниб[удь], “потрясающее основы”. Но совершенно напрасно – в ней ничего такого нет и не может быть. Самый скользкий пункт – вопрос о взаимоотношении вост.-слав[янских] языков, хоть и решаете мною в плоскости их общего происхождения из прарусс[кого] языка, но так, что культурное равноправие украинского и белорусского языков с великорусским остается незыблемым. Поэтому мне представлялось бы излишним перепечатывать “злокозненные страницы”, но достаточно было бы в предисловии мне или кому-нибудь другому разъяснить недоразумение.

Во всяком случае, из Ваших писем я вижу, что у РИСО наблюдается в данном случае некоторый “поворот от ворот”. О, если бы это впечатление не оказалось иллюзией!

24 янв. 1924 г.

(...) Пользуюсь случаем, чтобы переслать Вам мою новую статью “Что такое славянская филология?”⁴ К сожалению, она подверглась жестокой вивисекции со стороны 4-х цензур, в частности, особенно пострадал конец моей статьи, где говорится о жизненно практическом значении нашей науки.

[Саратов] 10/23 октября 1924 г.

Дорогой Борис Михайлович!

Прежде всего позвольте поздравить Вас и Вашу супругу с наступающими праздниками. О, если бы они дали возможность Вам хоть на время забыться от окружающего нас морального и всякого другого распада! Надеюсь, мое письмо еще застанет Вас в Одессе. Вас беспокоит квартирный вопрос в Петрограде, но неужели Вы не можете рассчитывать на казенную квартиру в Академии? И неужели Академия не может выдать пособие на перевозку Ваших книг?

Спасибо за добрые слова о моей статье. Я боялся, что на Вас, как на убежденного последователя фортуналовского течен[ия], она произведет совершенно отрицательное впечатление...⁵

На днях я получил от Фасмера письмо с приглашением участвовать во вновь основываемом им журнале *Zeitschrift für slav Philologie*. По его словам, он должен соперничать с *Archiv*’ом Бернекера, который будто бы не намерен приглашать русских сотрудников. Итак, разбитая и разоренная дотла Германия будет располагать двумя специальными журналами по славистике, а славянская Россия – ни одним! Какой позор!

И у нас в Саратове жизнь становится вся тяжелее и тяжелее. Жалованье не только не увеличивают, но даже кое в чем урезают. К материальным невгодам присоединяются моральные. Увы! И у нас начинает развиваться научная проституция, которая отплясывает сейчас такой канкан в обоих столичных университетах. Да! Я начинаю мучительно завидовать тем нашим сотоварищам по специальности, которые устроились в южно- и западно-славянских университетах!

Ваш Г. Ильинский

Саратов

5 февр. 1926

Глубокоуважаемый Борис Михайлович!

Прежде всего позвольте от всего сердца принести Вам мою благодарность за Ваше доброе и милое письмо. В наше время всеобщего шатания, деморализации и бесстыдного карьеризма и я чувствую себя одиноким, и только любовь к славистике да моральная и научная поддержка таких рыцарских характеров, как Ваш, не позволяет мне окончательно пасть духом.

Конечно, я нисколько не сомневаюсь, что если я получил "Очерк литер[атурного] яз[ыка] Ш[ахматова], то, главным образом, благодаря Вашему представительству. Большое, большое спасибо Вам за это!

За присылку Вашей статьи, хотя бы в гранках, я был бы Вам весьма признателен. Я хотел бы воспользоваться Вашими наблюдениями и комбинациями для моего обширного исследования о "Чередовании гласных в слав. языках", над которым я работал с 1905 г. с большими или меньшими перерывами. Для упрощения цитат я очень просил бы Вас переметить гранки страницами журнала, – конечно, если это технически возможно. {...}

Один профессор Минск[ого] университета пипет мне невеселые вещи о П.А. Бузуке⁶. Он жалуется, что он попал к ним, минуя ф[акультет]; с первых же шагов обнаружил желание всюду играть первые роли; забрал огромное колич[ество] лекций, участвует в антирелиг[иозных] диспутах и т.д. Все это меня очень удивляет. При личных встречах П.А. Бузук производил на меня впечатление гораздо более симпатичное.

Сердечный привет глубокоуважаемой Елене Константиновне и горячая благодарность за ее добрые строки.

Искренне преданный Г. Ильинский

Москва 26.V.29

Долгий 17, кв. 3

Глубокоуважаемый Борис Михайлович!

Когда я писал Вам в последний раз по поводу сравнительного достоинства научного направления А.А. Шахматова и А.И. Соболевского, я и не подозревал, что дни Нестора слав[янских] филологов сочтены. Вчера мы похоронили его на Ваганьковом кладбище. Похороны были очень скромными, в газетах не было даже объявления об его смерти и ни строки о заслугах красоты и гордости русс[кой] науки: странно, что не было венка даже от АН. Мы с женой надеялись, что Вы приедете в Москву на похороны, но, к сожалению, этого не случилось. В общем, я ушел с кладбища в невыразимо тяжелом настроении.

Ваш Г. Ильинский

Москва
8.VII.29

⟨...⟩ Недавно у нас закончились единственные в своем роде перевыборы профессуры. Я пока уцелел.

Я не вижу никакого торжества яфетической теории⁷. Напротив, тот факт, что ее прих[одится] вколачивать палкой и путем какого-то своеобразного террора, показывает, что дела ее плохи. Истина не нуждается для своего распространения в такого рода позорных средствах. ⟨...⟩

Москва
31 янв. 1929

⟨...⟩ Мне остается еще извиниться перед Вами, что я невольно причинил Вам столько хлопот со своей книгой. Если ей суждено появиться на свет, – а я в это плохо верю, так как генералы, въехавшие на красных конях в Акад[емию] 12 янв[аря]⁸, в один прекрасный день могут упразднить славистику и, в частности, признать Праслав[янскую] грамм[атику] пятым колесом в телеге, – то я в предисловии не забуду отметить, что я обязан Вам не только отдельными указаниями, но и редакцией целых отделов. Впрочем, я бы ничего не имел против, чтобы Вы в самом тексте отмечали Ваши дополнения и поправки инициалами, заключая их в угловые скобки.

На меня крайне удручающе подействовала последняя травля Академии Наук, – только за то, что часть ее наиболее достойных членов позволила себе в совершенно законных рамках “сметь свое суждение иметь”. Вчера мы здесь торжественно отпраздновали 100-летие смерти Грибоедова, но имели ли мы на это нравственное право, когда производство Фамусовых и Молчалиных достигло у нас фабричных размеров и когда даже Академия Наук лишена права свободно высказывать свои мнения?

Наш глубокий поклон уважаемой Елене Константиновне!

Искренне преданный
Г. Ильинский

Как пишет мне В.А. Богородицкий, в состоянии здоровья Е.Ф. Будде наступило некоторое улучшение; непосредственная опасность миновала.

Севастополь 30.XI.31

Дорогой Борис Михайлович!

На ближайшей сессии АН, вероятно, произойдут похороны по первому разряду моей злополучной П[раславянской] Г[рамматики]. Если это погребение произойдет с соблюдением внешнего декораума, т.е. не келейно, а на заседании Отделения, и если Вы найдете возможным еще

раз поднять Ваш авторитетный голос в защиту моей книги⁹, то я был бы Вам бесконечно признателен, если бы Вы указали, по крайней мере, на следующие три совершенно объективные обстоятельства:

1) 1-е издание ПГ, уже при советской власти, было увенчано почетной золотой медалью и полной Толстовской премией. Рецензентом был А.А. Шахматов, компетенция которого выше всякого сомнения. Теперь Академия собирается уничтожить эту книгу только за то, что она усовершенствована, и по отзыву лица, которое имеет лишь отдаленное отношение к лингвистике или славистике¹⁰.

2) 1-е издание ПГ постоянно приводится в качестве одного из главных пособий почти всеми новейшими составителями церковнославянских и других славянских грамматик. Может быть, Вы нашли бы даже возможность показать на заседании Отделения *Geschichte der alsl. Sprache van Wijk'a*, где моя книга не только указана в списке пособий, но и цитируется постоянно в тексте. То же следует сказать о "*Geschichte der bulg. Sprache*" Mladenov'a. Если, таким образом, даже иностранные специалисты признают небесполезным первое, весьма далекое от совершенства издание ПГ, то неужели Академия обратит в макулатуру 2-е, исправленное?

3) ПГ была представлена к напечатанию не по моей инициативе, а по заказу самой Академии, в лице б[ывшего] ОРЯС. Если я выполнил свое обязательство, то Академия, с своей стороны, должна выполнить свое.

Простите за нескромность некоторых вышенаписанных строк. Поверьте, у меня рука никогда бы не поднялась их написать, если бы к этому меня не принудили чрезвычайные обстоятельства.

Через неделю возвращаемся в Москву.

С сердечным приветом
Г. Ильинский

Славгород 20.02.36
ул. К. Маркса, 50

Глубокоуважаемый Борис Михайлович!

Простите меня великодушно, что я осмеливаюсь обратиться к Вам с большой и, может быть, более, чем когда-либо, нескромной просьбой — устроить в печати прилагаемую при сем статью "К вопросу о происхождении укр. звука dz". Если для нее не найдете места в изд[аниях] Акад[емии] Наук и вообще в сов[етских] журналах, то, может быть, Вы найдете целесообразным рекомендовать ее Ничу для помещения в *Lud slowiski* или *Srober'u* для помещения в *Prace filologiczne*. Ведь тема моей статьи относится столько же к укр[аинской], сколько и к польской филологии.

Если, по какой бы то ни было причине, Вы не найдете для себя возможным исполнить мою просьбу, то будьте добры отослать мою ста-

тью моей жене (М., Долгий, 17, кв. 3), но я просил бы Вас и в таком случае предварительно заполнить лакуны в подстрочных примечаниях моей статьи, а именно №№ 2, 6, 9, 21 и 31. Так как все книги, которые цитируются в указанных примечаниях, наверное, имеются в Вашей личной библиотеке, то произвести просимые справки вряд ли потребует от Вас большого труда. {...}

Простите еще раз за причиняемое беспокойство. Мой низкий поклон Елене Константиновне!

Искренне преданный
Г. Ильинский

Томск, 5.03.37

Глубокоуважаемый Борис Михайлович!

С июля месяца прошлого года я – в Томске, где заведываю Библиотекой Музея Краеведения. Хотя после Славгородской книжной Сахары здешние книжные пастбища мне кажутся и очень тучными, но все-таки даже в б[иблите]ке Томск[ого] у[ниверсите]та я не нахожу многих книг, в том числе даже новейших академич[еских] изданий, напр[имер], особенно интересной для меня “Slavica”¹¹. Вероятно, Ваши усилия устроить мою статью об укр. дж. остались тщетными.

Без сомнения, Вам теперь часто приходится ездить в Москву на сессии Акад[емии] наук. Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы при случае отвезли моей жене (М., Долгий, 17, кв. 3) рукопись моей Прасла[внянской] Грамм[атики], которая, кажется, хранится у Вас.

Правда ли, что Н.М. Никольский уже сошел с жизненной сцены?

Надеюсь, Вы здоровы и благополучны. Мой сердечный привет Елене Константиновне.

Искр[енне] преданный Г. Ильинский

Томск, 6.04.37

Учебная, 15а

Глубокоуважаемый и дорогой
Борис Михайлович!

Не нахожу слов, чтобы выразить Вам мою благодарность за Вашу открытку от 12.03 и в особенности за Ваши хлопоты по устройству моей статьи в очередном № Slavica. Конечно, без Вашего авторитетнейшего содействия она бы осталась еще долго без движения.

Благодарю Вас также за Ваше любезное предложение выслать мне нек[оторые] новейшие издания Академии. На первых порах мне более всего хотелось бы познакомиться с 1 № Slavica (с монографией Филина), который я напрасно искал {...} даже в Б[иблите]ке Томск[ого] университета.

С грустью я прочел длинный мартиролог славистов, покончивших счета с жизнью в последнее время. Некоторые сообщенные Вами факты (напр[имер], кончина В.И. Срезневского) были для меня полнейшей новостью.

Радуюсь, что Вы, несмотря на Ваши преклонные годы, с прежней энергией продолжаете Вашу научную деятельность, но искренне сожалею, что успеху чужих работ Вы так самоотверженно приносите в жертву интересы собственные. Мой сердечный привет глубокоуважаемой Елене Константиновне.

Искренне преданный и всегда Вам благодарный
Г. Ильинский

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Речь идет о первой книге Г.А. Ильинского “О некоторых архаизмах и новообразованиях праславянского языка. Морфологические этюды”, которую ученый издал за свой счет в Праге в 1902 г. Позднее она была представлена им в качестве магистерской диссертации, однако защита прошла неудачно. Впоследствии Ильинский переработал книгу и выпустил новую работу под названием “Сложные местоимения и окончание родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода неличных местоимений в славянских языках”.
- ² Имеется в виду журнал *Archiv für Slavische Philologie*, в котором в 1902 г. появилась рецензия И.В. Ягича на работу Ильинского “О некоторых архаизмах и новообразованиях праславянского языка. Морфологические этюды”.
- ³ Ильинский сообщает здесь об уже упоминавшейся книге “Сложные местоимения и окончание родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода неличных местоимений в славянских языках”, которая вышла в Варшаве в 1903 г. (2-е изд. М., 1905).
- ⁴ Ильинский имеет в виду статью “Что такое славянская филология?”, вышедшую в Ученых записках Саратовского университета (Т. I, кн. 3, 1923), в которой он дает следующее определение этой науки: “Славянская филология есть культурно-историческая дисциплина, изучающая духовную деятельность славянства, поскольку она проявляется в слове (или вообще в языке) и его произведениях”.
- ⁵ Ильинский не во всем разделял взгляды представителей московской лингвистической школы, основателем которой был Ф.Ф. Фортунатов. В частности, его не удовлетворял излишний “фонетизм” сторонников этого научного направления. Как отмечал по этому поводу Б.М. Ляпунов, “основная особенность научного метода Гр.А. Ильинского – объяснение формальных и лексикальных различий славянских языков не столько путем новых фонетических гипотез, сколько путем предположения старых морфологических вариантов” (См.:

Записка об ученых трудах профессора Григория Андреевича Ильинского // Московский журнал. 2000. № 7. С. 2.). В этом отношении ему гораздо ближе был научный метод А.И. Соболевского, с которым на протяжении всей своей жизни у Ильинского складывались непростые личные отношения. Вот что писал ученый Б.М. Ляпунову 30 апреля 1929 г.: «Вообще, по иронии судьбы, мне гораздо симпатичнее научное направление Соболевского (хотя взамен благожелательности Ф[ортунато]ва и Ш[ахмато]ва я встречал у него обыкновенно лишь злопыхательство), но Соболевского не XX в., когда он заболел (по-видимому, неизлечимо) скифо-сарматской болезнью, а Соболевского XIX в., когда он был трезвым реалистом, и с удивительным тактом пользовался и фонетическими и морфологическими приемами объяснений. Недаром к этому времени и относятся почти все труды, составившие его славу ("Исследования...", "Очерки...", "Лекции...", "Опыт" и пр.)». Смерть А.И. Соболевского Ильинский переживал как большое личное горе (См. его письмо Ляпунову от 26 мая 1929 г.).

⁶ Бузук П.А. (1891–1943) – белорусский советский языковед, профессор БДУ, в 1931–33 гг. директор Института языкознания АН БССР. Исследователь истории праславянского языка. Центральное место в его работах занимают вопросы диалектологии и лингвистической географии; автор первого славянского диалектологического атласа.

⁷ Яфетическая теория Н.Я. Марра (позднее она получила название "Новое учение о языке") базировалась на идее о четырех элементах, которые якобы лежали в основе словарного запаса всех языков. Н.Я. Марр объявил индоевропейское языкознание с его сравнительно-историческим методом устаревшим и не отвечающим требованиям марксистской науки.

⁸ В 1929 г. началась кампания по реорганизации АН СССР с целью избрания в ее состав ученых-коммунистов и внесения серьезных изменений в ее деятельность.

⁹ Б.М. Ляпунов действительно выступил в защиту работы Ильинского, в которой он и сам принимал непосредственное участие, и передал заявление в РИСО АН СССР, в котором, подчеркивая несомненные достоинства 2-го издания Праславянской грамматики, настоятельно советовал издать не только ее Введение, но и всю книгу целиком (См.: СПб. отделение РАН. Ф. 18. Оп. 2. № 238). Однако ни вмешательство Ляпунова, ни тем более заявление самого Ильинского, в котором он мужественно отстаивал право на издание труда всей его жизни, не возымели положительного действия: печатание книги было признано нецелесообразным, а уже отпечатанные листы были обращены в макулатуру (см.: Журавлев В.К. Из неопубликованной Праславянской грамматики Г.А. Ильинского // Вопросы языкознания. 1962. № 5. С. 123).

- ¹⁰ Речь идет об отрицательном отзыве на Праславянскую грамматику Н.Я. Марра, который он дал в феврале 1931 г. В нем Марр отметил, что книга “методологически стоит на позициях идеалистической лингвистики”, и рекомендовал отпечатать лишь Введение к ней тиражом всего 50 экземпляров.
- ¹¹ Slavica – периодическое издание (с 1936 г.) Кабинета славянских языков, организованное при Институте языка и мышления.

Очерк о Г.А. Ильинском,
публикацию писем и комментарии
к ним подготовила
Г.С. Баранкова,
кандидат филологических наук ©





РАСТЕНИЯ В ТЕКСТАХ БИБЛИИ

О.Т. ТУМАНОВА

Библия, помимо ее богословской ценности, является энциклопедией древнего мира, включая многообразие мира природы.

Как сообщается в Библейской энциклопедии Уиклиффа (Wicliffe Bible Encyclopedia in two volumes. Chicago: Moody Press, 1975), на Ближнем Востоке произрастало 2300 видов растений. Однако в Библии упоминаются несколько десятков, включая завезённые. С ними была связана повседневная жизнь древних людей: деревья, используемые в качестве строительного материала; ароматические растения, предназначавшиеся для богослужений и других церемоний; растения, употреблявшиеся в пищу или имевшие декоративную ценность. Названия некоторых из них, не произраставших во многих странах Европы, были заимствованы через Библию в другие европейские языки, включая русский.

Упомянуемое в Книге Бытия дерево гофер, из которого Ной построил ковчег, комментаторы ассоциируют с кедром или кипарисом (слав. отъ древъ негниющихъ), самым доступным и прочным строительным материалом на Ближнем Востоке. В других местах Библии упоминаются и кедр, и кипарис. В русской и славянской Библиях они представлены заимствованиями непосредственно из греческого. В дальнейшем русские ботаники использовали именно эту форму данных названий.

Дерева ситтим (Исх. 25, 5 и далее), в славянской Библии *древа негниющихия*, также предположительно относят к кедру и кипарису. В Книге Бытия упоминается и мандрагора, а ее плоды именуются *мандроговыми яблоками*. Мандрагора (греч.), содержащая наркотическое вещество, вероятно, ценившееся как лекарственное, является также ядо-

витым и вrotnым. Упоминается, в частности, у Шекспира в “Отелло” (III акт, III сцена):

Уже ему ни мак, ни сонная
травa, ни мандрагора –
ничто, ничто не восстановит сна...

(Перевод Б. Пастернака)

Слово *мандрагора* является видовым эпитетом научного названия *Atropa mandragora* L., данного Линнеем. В Большой Советской Энциклопедии мандрагора отнесена к семейству пасленовых и научно именуется *Mandragora officinarum* – мандрагора лекарственная. Её корень иногда напоминает фигуру человека. Однако неизвестно, какое растение имеется в виду в Библии – с красно-желтыми плодами величиной с небольшое яблоко и с очень приятным запахом: “Мандрагоры уже пустили благовоние” (Песнь песней. 7, 14).

Упоминается в Библии красное дерево: царица Савская привезла в дар царю Соломону красное дерево из страны *Офир* (3 Цар. 10, 11–12). Этот топоним связывают с Молуккскими островами, расположенными на большом расстоянии от стран Ближнего Востока. Само дерево по-русски названо *красное дерево*, а на славянском – *дерево нетесанно*. Архимандрит Никифор, автор Библейской энциклопедии (М., 1891), относил его к восточному сандаловому дереву – по-латыни *Pterocarpus santalinus*.

В Библии часто встречается название *касия*, имеющее два написания: *касия* и *кассия*. Последнее есть только в книге пророка Иезекииля. Первый вариант – *касия* – транслитерация с греческого.

Как информирует Библейская энциклопедия Уиклиффа, два древнееврейских слова переводятся как *касия*: *qiddā* (Исх. 30, 24) и *qesîā* (Иез. 27, 19), которые означают различные растения. *Qiddā* – кора ароматического дерева *Cinnamomum cassia*, в переводе на ботанический русский – *коричника китайского*, который, как считал архимандрит Никифор, произрастает не только в Индии, но и в Аравии.

В Псалтыри (44, 8) также упоминается *касия* (*qesîā*) вместе с *алоем* и *смирной*, ароматом которых были пропитаны одежды царя. Высказывается предположение, что в данном случае так было названо *Saussurea lappa* – *соссурея кашмирская* – травянистое растение, произрастающее в Кашмире, известное как лекарственное и ароматическое. Возможно, его санскритское название *куштка*, *кустха* каким-то путем пришло в древнееврейский язык и приняло форму *qesîā*. Однако в ботанике род *кассия* (*Cassia*) объединяет другие растения. Совпадает форма, но не содержание.

Упоминаемый в Ветхом Завете *алой*, согласно Библейской энциклопедии Уиклиффа, вероятно, означал орлиное дерево – *Aquilaria agal-*

losha, произрастающее в горных лесах гималайского региона, а в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна (19, 39), – *Aloe succotrina* – алоэ сокотринское, произрастающее на острове Сокотра в Индийском океане, что вблизи Красного моря. В русской Библии оно заимствовано посредством транслитерации с византийского греческого, и ему придана форма склоняемого существительного. В ботаническом русском транслитерация была осуществлена при посредничестве латинского языка – алоэ.

Сикомор (3 Цар. 10, 28) является деревом, похожим на инжир – *Ficus sycomorus*. Однако в Европе *сикомором* именуется платан (*Platanus*) и ложный платан (*Acer pseudoplatanus*).

Кроме транслитерации, встречаются также заимствования-кальки: *маслина*, *гранатовые яблоки* (первое – транслитерация, второе – калька).

Названия растений, употребляемых в пищу, как правило, приводят в нейтральных текстах в их прямом значении: зерновые, виноград, сушеный виноград, смоквы, стручковые плоды, чечевица, бобы, лук, репчатый лук, чеснок, огурцы, дыни, гранатовые яблоки. Выражение *чечевичная похлебка* стала применяться в переносном смысле – “за чечевичную похлебку продать свое первородство”.

В Евангелии от Матфея (13; 22, 27) употребление слов *плевелы* и *пшеница* имеют переносное значение и служат аналогией. Согласно утверждению архимандрита Никифора, *плевелы* – растение, несколько похожее на пшеницу, но семена его производят вредное действие. Этот факт использован для построения фабулы евангельской притчи. В Латинской Библии (Вульгате) *плевел* – *zizania*, заимствовано из греческого. В ботанике плевел назван латинским *Lolium*.

На страницах Библии часто упоминается корица, на славянском также *киннамом*. Как пишет архимандрит Никифор, аравитяне привозили корицу из Индии и Цейлона. Научное название дерева, дающего корицу, – *Cinnamomum zeulanicum*. Корица была дорогим товаром, и в этом значении она упоминается несколько раз в различных местах Библии. Можно предположить, что *киннамом* является калькой его персидско-индийского названия *дар-чини* и *чин-дарусита*, в которых лексема *чини*, или *чин* означает “китайский”, и ей соответствует лексема *киинн*. В таком случае *киннамом*, как и уже названные персидско-индийские названия, идентичны в своей внутренней форме и буквально означают “китайское (ароматическое) дерево”. Это высший сорт корицы, и ей уступает корица дерева *Cinnamomum cassia*.

В “Песни песней” Соломона (1, 13) встречается название *кипер*: “Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских”, и там же: “киперы с нардами” (4, 13). В славянской Библии – *кипръ*, в Вульгате – *surgus*. Архимандрит Никифор относил это название к ароматическому невысокому дереву. В русском варианте заимст-

вования – *кипер* содержится ошибка: должно быть не *кипер*, а *кипр*, и эта форма соответствует латинской и славянской транслитерации. Его греческая форма омонимична топониму *Кипр*. Это кустарник, дающий благовония, который называется в ботанике *Lawsonia inermis*, то есть *хна*. Как сказано в Библии, это растение имеет “кисти” – синонимичное слову *грозди*. Но кипер по-русски называется также *сыть*. Это растение семейства осоковых, у которого “кисти”, или “грозди” отсутствуют.

В “Песни песней” названия растений используются для создания поэтических образов, призванных оказывать эмоциональное воздействие. Такой же прием представлен в словах Премудрости из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова: “Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских; я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне; я, как красивая маслина в долине и как платан возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии. Я распространила свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я – как виноградная лоза, произрастающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства” (24, 14–20).

В данном отрывке все приводимые названия растений и их продуктов употреблены в переносном значении. Это наиболее известные и ценимые по воздействию на органы чувств растения. Перечислены многие ароматические вещества, благовония. У нас также в богослужении применяются ладан и смирна, ценимая особо. Согласно архимандриту Никифору, смирна – благовонное вещество, получаемое из невысокого тернистого дерева – *Cistus creticus* – ладанник критский. О *ливане (ладане)* в БСЭ сообщается, что это ароматическая смола, получаемая из дерева босвеллия – *Boswellia carterii* семейства бурзеровых, произрастающего в Восточной Африке и Аравии. Используется также смола сосны и ели.

Прочие названные ароматические вещества – *халвани*, *аспалаф*, *оникс*, *стакти* сейчас малоизвестны.

Из истории геральдической терминологии в России

*О.Н. НАУМОВ,
кандидат исторических наук*

Гербы – особая знаковая система, имеющая собственные традиции и существующая по своим законам. В Западной Европе гербы возникли в XII веке и оказались настолько специфичным проявлением человеческой культуры, что их описание представляло собой непростую задачу, требующую специальных навыков и знаний. Поэтому еще в средние века сложилась особая геральдическая терминология. Она нужна для того, чтобы по словесному описанию было возможно воспроизвести герб, не видя его. Профессор Московского археологического института Ю.В. Арсеньев так писал о геральдических терминах: “При всей своей краткости они должны быть достаточно выразительными, чтобы удовлетворять условиям правильного описания, или блазонирования, гербов, не требуя особых дополнительных объяснений” (Арсеньев Ю.В. Геральдика. Ковров, 1997).

Многие геральдические понятия имеют не только словесные определения, но и иконографические образцы. Например, **солнце** неизменно изображалось с шестнадцатью лучами, из которых восемь были прямыми, а остальные – искривленными. **Лев** должен всегда стоять на задних лапах с головой, обращенной в профиль. Если точно такое же животное рисовали с головой анфас и стоящим на четырех лапах, то оно называлось **леопардом**. Четкое соответствие названия геральдической фигуры с её изображением обеспечивало гербам иконографическую преемственность и способствовало формированию сложной, точной и разветвленной системы терминов и понятий. Особенно обширной считается немецкая геральдическая терминология, которую даже критиковали за громоздкость и излишнюю регламентацию.

В России геральдика стала развиваться поздно. Гербы появились под влиянием европейских (преимущественно польских) культурных традиций только во второй половине XVII века. Однако, заимствовав само понятие герба, его структуру и иконографию, отечественная геральдика не восприняла западной терминологии. Уже в одной из ранних рукописей о геральдике на русском языке – переведенной с польского сочинения “Потентанты, или гербы многих столиц” (Белоброва О.А. Из ис-

тории древнерусской геральдической литературы // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37) – заметны серьезные затруднения при обозначении специальных геральдических понятий. Выход был найден в описательности, хотя она могла привести к ошибкам в понимании смысла изображений. Так, различные геральдические фигуры (пояс, перевязь, стропило), похожие на полосы, выражались одним и тем же словом *бревно*, а леопарды названы *бобрами*: “Бобра 2 в красном поле” – герб Нормандии (там же). С другой стороны, переводчика нельзя упрекнуть в небрежности. Описания гербов сделаны, по возможности, тщательно, скрупулезно перечислены цвета полей и фигур. Иногда встречаются европейские термины (полонизм *погона*, означающий всадника), но это единичные случаи. Польское влияние заметно также в описаниях гербов, подававшихся русскими дворянами в 1680–1690-е годы в Палату родословных дел: *клеймо* (вместо щит), *блешитное* (голубое) поле и др.

Уже в конце XVII века четко обозначилась основная проблема геральдической терминологии России: отсутствие в русском языке слов, адекватно передающих европейские понятия, и, как следствие, подробное описание гербов обычными словами. Она тяготела над отечественной геральдикой весь XVIII век. Попытки исправить положение предпринимались, но ощутимых результатов не принесли. Один из основоположников герботворчества в России, итальянец граф Ф. Санти русского языка не знал и описывал гербы по-французски. Им же был составлен геральдический словарь (“лексикон блазонский”; *блазирование* – “описание”), однако, вскоре забытый.

Массовое создание городских гербов в последней четверти XVIII века и составление с 1797 года официального “Общего гербовника дворянских родов” обострили терминологическую проблему. И если территориальные гербы описывались традиционно для России, т.е. без специальных терминов, то составители “Общего гербовника” стремились использовать европейский геральдический опыт. Секретарь Герольдии Г. Мальгин перевел с немецкого языка и издал сочинение профессора Геттингенского университета И.Х. Гаттерера “Начертание гербоведения” (СПб., 1805). Этот свод немецких геральдических правил был призван повысить уровень описания русских гербов. Однако попытка оказалась неудачной, и в библиотеке Герольдии долгое время даже отсутствовал экземпляр книги. Терминология “Общего гербовника” мало чем отличалась от сложившегося к концу XVIII века стереотипа.

С середины XIX века в России началось становление научной геральдики. Автор первого же труда в этой области А.Б. Лакиер отмечал актуальность терминологической проблемы. Он писал, что хотя иконографически русские гербы схожи с западными, “но вместо технических названий употребляются описательные выражения. Язык гераль-

дический ещё не утвердился” (Лакер А.Б. Русская геральдика. М., 1990). Историк предложил несколько новых терминов (в частности, связанных с делениями гербового щита), а к каждому русскому понятию подобрал аналог по-французски. В эти же годы Департамент герольдии Сената предпринял меры для упорядочения правил составления и описания гербов (Репинский Г.К. К истории русской геральдики // Русская старина. 1897. № 1).

Реформатор отечественной геральдики барон Б.В. Кёне ввел несколько новых выражений для гербов, включавшихся в “Общий гербовник” (обозначения цвета и др.; Лукомский В.К., Типольт Н.А. Русская геральдика. М., 1996).

В итоге развитие практической стороны геральдики привело к определённому совершенствованию терминологии, заметному, например, при сравнении двух описаний одного герба, сделанных в разное время:

Герб Курска (1780). *В серебряном поле синяя полоса, и на оной три летящие куропатки.*

Герб Курской губернии (1878). *В серебряном щите лазуревая перевязь, обременённая тремя серебряными же летящими куропатками.* (Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. СПб., 1990).

Несомненно, что описание 1878 года более точно и правильно, в нем использованы специальные термины (*обременённая, перевязь*), верно указан цвет фигуры (в геральдике традиционно нет *синего*, а есть только *голубой*) и др.

Однако окончательно вопрос о геральдической терминологии как о научно выверенной системе не был решен и к концу XIX века. Историки резко критиковали сложившуюся практику описания гербов и искали собственные выходы из ситуации. П.П. Винклер, например, приводил два описания герба: одно – официальное, взятое из “Общего гербовника”, другое – составленное им самим, “правильное”.

Геральдист В.Е. Белинский в начале XX века вообще игнорировал утвержденные властью описания и использовал в статьях только собственные. Он решил подготовить универсальный геральдический справочник, в котором хотел “установить и обобщить в области русской официальной геральдики наиболее употребительные технические выражения, слова и образы при описании (благонимовании) и составлении русских гербов” (Белинский В.Е. Русский геральдический словарь. СПб., 1912. Вып. 1).

Из-за Первой мировой войны книга не была завершена, но для геральдики России даже два первых выпуска имели серьёзное значение. В них терминологическая проблема приобрела ещё одно направление – должно ли описание отечественных гербов соответствовать европейским стандартам или допустимы национальные особенности. Глубинный смысл вопроса состоял в определении степени своеобразия

русской геральдики и характера её взаимоотношений с зарубежным опытом. Ю.В. Арсеньев настаивал на заимствовании немецких и французских традиций описания и, следовательно, на соответствующем изменении терминологии. Далеко не случайно, что опубликованное им учебное пособие оказалось незаменимым до сих пор и самым обширным терминологическим справочником на русском языке. Продолжая идею А.Б. Лакиера, Ю.В. Арсеньев к каждому понятию подобрал немецкий и (или) французский эквивалент.

Возрождение интереса к геральдической терминологии пришлось на конец 1980 – начало 1990-х гг. Оно было связано с возобновлением составления гербов и развитием гербоведческих исследований. При почти полном отсутствии специалистов в современной российской геральдике начали активно действовать любители, агрессивно проповедующие свои взгляды по всем геральдическим проблемам, в том числе – и терминологическим.

Введенные ими новшества можно разделить на две группы. К первой относятся некритически заимствованные европейские термины (часто устаревшие). Например, Русская геральдическая коллегия использует такие наименования членов, как *персевант*, *герольд-маршал*, *принципал*, *кустодий*, *температор* и т.п., а составляемый ею гербовник называется *гербовым матрикулом*. Зелёный цвет предложено называть *изумрудом*, а черный – *бриллиантом*, что является прямым копированием английской традиции (Арсеньев. Указ. соч.).

Вторая новация обусловлена широко развернувшимся составлением гербов для всех желающих (частных лиц, учреждений и организаций), что привело к поиску формальных геральдических отличий таких эмблем и, следовательно, к появлению новых, подчас неудачных терминов. Например, *пресс-корона* (для гербов средств массовой информации), *просветительская корона* (для гербов учебных заведений) и т.п. Обоснованием неологизмов стало то, что, по мнению авторов, “отличительной чертой в языке геральдики является сохранение архаизмов и своеобразная стилизация, придающая неповторимый оттенок геральдическим текстам” (Егоров В.П. Неологизмы в отечественной геральдике // Гербовед. 1994. №№ 5, 6). Старый терминологический вопрос оказался решен оригинальным способом – русская терминология должна сохранять традиции. Но не отечественные, а зарубежные. Такое предложение, конечно, абсурдно и не может быть полезным для развития геральдики в России как научной дисциплины.

Для современной русской геральдики терминологические проблемы остаются в числе наиболее актуальных. Применяемая для описания гербов система понятий ещё не стала предметом всестороннего научного исследования. Она сохраняет многие национальные традиции, хотя давно отошла от описательности. Но вопрос о направлении ее развития так и не решен.



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Щёлково. Город в Московской области, образован в 1925 году. Одна из частей города – бывшая деревня Щелково, которая принадлежала Троице-Сергиевой лавре. В основе топонима фамилия *Щёлков*, *Щелоков* (*Щельков*): Щелоков Василий Юрьевич – Рязань, 1639 г. (Веселовский. Ономастикон).

щёлковцы, щёлковец

щёлковский, -ая, -ое

Щелькóво. Поселок в Костромской области. В основе топонима фамилия одного из владельцев. Здесь находятся мемориальный музей знаменитого русского драматурга А.Н. Островского (1823–1886) и музей

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–6; 2000. №№ 1–6; 2001. № 1.

театральных художников, создавших декорации к его пьесам. См. *Островское*.

щелыко́вцы, щелыко́вец

щелыко́вский, -ая, -ое

Щербинка. Город в Московской области. Первоначально (с XIV в.) – деревня Щербинка, затем пристанционный поселок, а в 1975 году – получил статус города. Название, возможно, антропонимического происхождения – от фамилии (прозвища) *Щербина*; или от диалектного *щерба*, *щербина* “выбоина, углубление на поверхности чего-л., трещина”. Возможно и то, что первоначально название относилось к речке, на которой находилась деревня – река Щербинка (Стербинка).

щёрби́нцы, щёрби́нец

щёрби́нский, -ая, -ое

Щигры́. Город в Курской области. Статус города получил в 1779 году. В основе названия местный географический термин, обозначающий возвышенности, холмы разных типов: в Курской области – “гребни узких межбалочных бугров по берегам реки”, или “сухое место на болоте, незатопляемая часть поймы, насыпь песка у реки” – в Полесье. До 1779 года селение называлось *Троицкое на Шиграх* по церкви во имя пресвятой Троицы. “Шигровая” топонимия широко известна в Центральной России: река *Шигор* и ручей *Шигорчик* (Курская обл.); *Шигарь Волчья*, *Шигры Большие* и др. (Мурзаев. Словарь народных географических терминов).

щи́грóвцы, щи́грóвец

щи́грóвский, -ая, -ое

Щуче́нские Пески́. Село в Воронежской области. Основано около 1830 года переселенцами из села Щучье “на песках” с левого берега реки Битюг на правый. Название села прозрачно, *пески* – песчаная почва, на которой основано селение; *щученские* – имеющие отношение к селу Щучье, из которого они выселились. Название селения по виду почвы, особенностям угодий довольно частое явление в топонимии Центральной России: болото – *Болотное*, *Заболотье*, лес – *Подлесное*, *Лесное*, луг – *Верхняя Луговатка*, степь – *Степной* (хутор) и др.

песко́вцы и щу́чепеско́вцы

щу́чепеско́вский, -ая, -ое

Щучье. Название двух сел в Воронежской области. Село Щучье Лискинского района в начале XVII века именуется как *Переезжее*, *Щучье* и *Щучье-Переезжее*, а в документах XVIII – только как *Переезжее*. Когда в нем была возведена церковь, оно стало называться только *Щучье*, а при нем приселок *Переезжее* существует и до настоящего времени. Именование *Переезжее*, вероятно, связано с тем, что селение было основано около переезда, парома через Дон. Оба села Щучье названы потому, что возникли около Щучьего затона на Дону, где водились щуки (Прохоров. Вся Воронежская земля).

щукинцы, щукинец, щукинка

щукинский, -ая, -ое

Экономические Поляны. Деревня в республике Мордовия. Известна с 1869 года как *Нагорные Полянки* и *Малые Экономические Полянки*. Название довольно прозрачно. *Экономические* – населенные экономическими крестьянами, переведенными в 1764 году с церковных земель в казну под управлением коллегии экономии. *Поляны* – места среди леса, расчищенные под пашни, термин довольно известный в топонимии Центральной России.

Форма названий жителей и прилагательного затруднительна из-за необычности топонима.

Электрогóрск. Город в Московской области. Название дано в связи со строительством единственной в дореволюционной России электростанции, работающей на торфе. До 1946 года носил название рабочий поселок *Электропередача* по электростанции “Электропередача”.

электрогóрцы, электрогóрец

электрогóрский, -ая, -ое

Электростáль (1938). Город в Московской области. Топоним отражает название крупного электрометаллургического завода “Электросталь”, построенного к 1917 году крупным промышленником Н.А. Второвым в урочище Затишье. В 20 – 30-е годы производство было значительно расширено.

электростáльцы, электростáлец

электростáльский, -ая, -ое

Электроу́гли. Город в Московской области (с 1956 г.). В названии отражен профиль большого предприятия электротехнической промышленности “Электроугли”, созданного здесь на базе небольшого дореволюционного завода. Первоначально поселок Горки при железнодорожной станции Кудиново.

электроу́глинцы, электроу́глинец

электроу́глинский, -ая, -ое

Эртéль. Поселок в Воронежской области. Известен с начала XX века как усадьба, принадлежавшая вдове писателя А.И. Эртеля.

эртéльцы, эртéлец

эртéльский, -ая, -ое

Эртиль. Город в Воронежской области. Основан в 1897 году в связи с постройкой в имении Эртильская степь, принадлежавшем графу А.Ф. Орлову сахарного завода (Города России. Энциклопедия). Статус города получен в 1963 году, а название дано по реке Эртиль, на которой возникло село. Гидроним производят от тюркского слова *ерт* “земля, местность; владение” (Прохоров. Указ. соч.). Поблизости на этой же реке стоит село Эртиль.

эртильцы, эртилец

эртильский, -ая, -ое

Южа. Город в Ивановской области. Название, вероятно, дано по соседнему болоту *Юзга* или по реке *Юга* (*Юг*). Оба эти топонима известны в северной и северо-восточной части Центральной России. Первоначально (сер. XVI в.) селение называлось *Южский рубеж*, т.е. рубеж (граница) на реке Юге или у болота Юзга. Подобное словообразование типично русское – *Пинежский* от Пинега, *Устюжский* от Устюг, *Волжский* от Волга и т.п. В начале XVII века на месте Южского рубежа выросло село Южа, получившее в 1925 году статус города.

южинцы, южинец и южцы, южец

южский, -ая, -ое и южинский, -ая, -ое

Юрасовка. Село в Воронежской области. Известно с 1721 года как *Верхняя* и *Малая Ольховатка*; в 1747 году это слобода *Верхняя Ольховатка*, принадлежащая Юрию Блюму – *Юрасу*. Эта просторечная форма и дала основу топониму. Названия *Верхняя* и *Малая Ольховатка* этимологически прозрачны (Прохоров. Указ. соч.). Фамилия *Юрасов* известна в русских источниках с середины XVI века; Юрасов Второй (Вторышка) – царский конюх, 1573 г. (Веселовский. Указ. соч.).

юрáсовцы, юрáсовец

юрáсовский, -ая, -ое

Юрьево. Город в Ивановской области. Основан владимирским князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1225 году и назван по его имени *Юрьев-Повольский* (другое название *Георгиевск*), *Юрьево* – с XVI века (Города России). В данном случае -ев придает топониму значение уменьшительности – Юрьев Малый.

юръевцы, юръевец и юръевчане, юръевчанин

юръевский, -ая, -ое

Юрьевцы – китаечники. Юрьевцы были известными ткачами, изготавливавшими ткань-китайку (с льняной основой и бумажным утком).

Юрьев-Польский (Юрьев-Польско́й). Город во Владимирской области. Основан в 1152 году князем Юрием Долгоруком во Владимирском ополье (поле) и назван по его имени: *город Юрия в ополье (в поле)*. Уточнение *Польский* дано в отличие от существующих уже одноименных городов *Юрьево Ливонского (Немецкого)* – позже *Дерпт* → *Тарту*), основанного в 1030 году и Юрьево на реке Роси, основанного в 1095 году. Юрьев-Польский впервые упоминается в 1177 году как *Юрьев*, а с определением примерно с XVI века.

юръевпóльцы, юръевпóлец; юръевцы, юръевец; юръевчане, юръевчанин

юръев-пóльский и юръевпóльский, -ая, -ое;

юръевский, -ая, -ое

Юхнов. Город в Калужской области. В основе названия местная форма личного мужского имени *Юхно* (*Юрий*). Фамилия *Юхнов* известна в русских источниках в XV–XVII вв.: Юхнов Федор, городской при-

казчик, 1574 г., Углич (Веселовский. Указ. соч.). Статус города получил в 1777 году.

юхновец, юхновцы и юхновчәне, юхновчанин; юхновичи, юхнович юхновский, -ая, -ое

Яблочное. Село в Воронежской области. Известно с 1667 года как селение солдатских и драгунских семей. Название села объясняется двояко: 1 – по зарослям диких яблонь в соседней балке; 2 – одно время местные покосы принадлежали Яблонево́й пустыни Лебединского уезда (Прохоров. Указ. соч.).

яблоне́вцы, яблоне́вец и яблонцы, яблоне́ц

яблоне́вский, -ая, -ое и яблонский, -ая, -ое

Явас. Мокшанско-русский рабочий поселок в Республике Мордовия. Основан в 30-х годах XX века рабочими, заготавливавшими лес для новостроек Москвы. Название поселку дано по реке Явас, поблизости от которой он основан. В гидрониме *Явас* видят мордовское *яв* «река (от юв, ёв “река”))».

ява́сцы, ява́сец, ява́совцы, ява́совец

ява́совский, -ая, -ое и ява́сский, -ая, -ое

Якшень Большая. Село в Нижегородской области. Название, возможно, связано с рекой Якшенка (в прошлом Якшень?), в основе которого видят татарское слово *якши* “хорошо”, то-есть хорошая река. По другому предположению, в основе гидронима финно-угорское *икше* “холодная вода” (Ср. река и поселок *Икша* под Москвой).

якше́нцы, якше́нец; большея́кшенцы и большея́кшенец

якше́нский, -ая, -ое и большея́кшенский, -ая, -ое

Ялга. Эрзянский поселок при железнодорожной станции в Республике Мордовия. Возник не ранее 1896 года. Название дано по ближайшему ручью *Елга*, в основе которого Тюркское *елга* “река, речка, ручей”. По другой версии, в основе гидронима мордовское *ялга* “друг, товарищ, единомышленник”. Такое значение, якобы, поддерживается тем, что в поселке мирно живут и дружат люди разных национальностей (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР). Вторая версия не учитывает того, что название *Елга* относится первоначально к ручью, а с ручья переносится на поселок.

ялги́нцы, ялги́нец

ялги́нский, -ая, -ое

Ям-Ижора. Поселок в Ленинградской области на шоссе Петербург – Москва, поблизости от реки Ижора, что и отразилось в его названии. *Ям* значит, что селение возникло как ямская станция на почтовом тракте. Жители села осуществляли ямскую – почтовую и транспортную службу: перевозили на своих лошадях почту, должностных лиц, грузы. Возникновение этого селения относят к 1712 году, ко времени постройки тракта Санкт-Петербург – Москва (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области).

ямижбѣрцы, ямижбѣрец

ямижбѣрский, -ая, -ое

Ямное. Село в Воронежской области. Известно с 1615 года, но оно могло возникнуть и раньше, в период между 1590–1600 годами. Название дано по небольшим ямам около села, в которых находилось множество человеческих костей. Это могли быть захоронения, принадлежавшие населению предшествующих времен (Прохоров. Указ. соч.).

ямнинцы, ямнинец

ямнинский, -ая, -ое

Ямщина. Село в Республике Мордовия. В прошлом это ямская слобода – поселение ямщиков, осуществлявших почтовую и транспортную службу в Русском государстве. В основе названия древнерусское *ям* тюркского происхождения в значении “почтовая станция”, “почтовые лошади”, *ямчи* “ямщик”. Суффикс *-щин(а)* придает слову значение единства множественности. Топонимы с основой *ям* широко известны в Центральной России, так как ямская служба была важной сферой государства и ею занимались целые селения на больших дорогах, в окрестности городов.

ямщинцы, ямщинец

ямщинский, -ая, -ое

Яндова. Эрзянский поселок в Республике Мордовия. Название представляет собой географический термин *яндова* (*ендова*) “овраг или озеро округлой формы”. По свидетельству И.К. Инжеватова, в окрестностях этого поселка много котловин (яндовин) и холмов (Инжеватов. Указ. соч.). В Мордовии есть село *Яндовенец*. Топонимы, в основе которых лежит этот термин, довольно широко известны в Центральной России: деревня *Ендова* (Нижегородская обл.), село *Ендовище* (Воронежская) и др.

яндѡвцы, яндѡвец

яндѡвский, -ая, -ое

Яркий. Село в Воронежской области. Известно с конца XVIII века. В основе названия термин рельефа *яр* или его уменьшительная форма *ярок*, известные в разных значениях “крутой берег, овраг, обрыв” и т.п. В.А. Прохоров отмечает, что в окрестностях этого села много балок, водотоков, которые называют здесь *ярками* (Вся Воронежская земля). Этот термин довольно активен в южном регионе Центральной России. В Воронежской области есть хутора *Ярки*, *Яроватое*, *Яруга*; поселок *Яружный*.

ярко́вцы, ярко́вец

ярко́вский, -ая, -ое

Ярославль. Город – центр Ярославской области. Один из древних русских городов. В основе названия личное имя древнерусского (киевского) князя *Ярослава Мудрого* (978–1054), точнее форма притяжательного прилагательного от этого имени, образованная при помощи

суффикса *-ѣ-*, давшего *вл* в сочетании с губным согласным *в* – *Ярославль*, т.е. город Ярослава. Эта модель была широко распространена у восточных славян, но в настоящее время сохранились лишь единичные случаи: *Переславль*, *Судиславль*. Время основания точно не известно, в источниках упоминается 1010, 1024 и 1071 годы.

ярослѣвцы, ярослѣвец, ярослѣвка, *устар.* ярославляне, ярославлянин
ярослѣвский, *-ая, -ое*

Ярославль городок – *Москвы уголок*. О схожести Ярославля со столицей, Москвой.

Ярославцы – *красавцы, белотельцы*. О приятной внешности жителей Ярославля и его округи.

Ярославцы – *песенники, запевалы*. О любви к пению.

Ярославцы – *чистоплюи*. *Пуд мыла извели, а родимого пятнышка у сестры не вывели*. О чистоплотности, опрятности и аккуратности ярославцев.

Ясная Поляна (XVII в.). Поселок в Тульской области. Название отражает способ освоения земли – подсечное земледелие, когда в лесах вырубали, очищали от деревьев и кустов участки земли и распахивали их. *Поляна* – именно такое место в лесу, свободное (освобожденное) от растительности; *ясный* “светлый, солнечный”. Аналогичные названия широко известны в Центральной России: села *Поляны*, *Лесные Поляны*, *Зубова Поляна* и т.п. В год смерти Л. Толстого в 1910 году аналогичное название было дано вновь созданному селу в Амурской губернии, в 1924 году – поселку в Воронежской области.

Ясная Поляна – родина Льва Толстого, где он постоянно жил и работал. Здесь бывали известные писатели, художники, композиторы и общественные деятели. Уникальный центр русской культуры. В настоящее время создан музей-заповедник.

яснополянцы, яснополянец

яснополянский, *-ая, -ое*

Ярцево (1926). Город в Смоленской области. В прошлом – это деревня *Ярцево-Перевоз* (на р. Вопи, приток Днепра). Вероятно, в основе названия фамилия *Ярец*, который был первопоселенцем или держал перевоз через Вопь. Прозвище *Ярец* и фамилия *Ярец* были широко распространены у русских в XV–XVII вв. Ср. Василий Федорович Ярец Бирюкин-Зайцев, Ярцевы – XVI в. и др. (Веселовский. Указ. соч.).

ярцевцы, ярцевец

ярцевский, *-ая, -ое*

Ясногóрск (1958). Город в Тульской области. В основе названия сочетание *ясная гора*, т.е. светлая, солнечная гора. Более раннее название – село *Лаптево* – вероятно, по фамилии первопоселенца или одного из владельцев.

ясногóрцы, ясногóрец

ясногóрский, *-ая, -ое*

Яхрома. Город в Московской области. Возник в 1841 году как поселок при суконной фабрике, близ деревни Суровцево и села Андреевского. С 1860 года фабрика называлась *Покровская мануфактура* (по церкви Покрова в с. Андреевском). Позже (1901 г.) город стал называться *Яхрома* по соседней железнодорожной станции, получившей имя от протекающей вблизи реки Яхромы.

яхромцы, яхромец и яхромич; яхромчәне, яхромчанин
яхромский, -ая, -ое

Яхрома. Приток реки Сестры в бассейне Волги. Название легко членился на *яхр-* и *-ма*, где *яхр-* вариант прибалтийско-финского *явр* “озеро”. В гидронимии Подмосковья оно может выступать как *хра*, *гра*, *рха* и в других формах. Элемент *-ма* относят (наряду с *-га*, *-ша*) к древним элементам со значением “река”. Если это так, то *Яхрома* – Озерная река. В.А. Никонов не исключал в основе гидронима северновеликорусский апеллятив *ягра* “низкая коса, заливаемая речным разливом или морским приливом” (Никонов. Краткий топонимический словарь). Более предпочтительно видеть в гидрониме значение “озерная река”, т.к. ареалы элементов *-хра* и *-ма* поддерживаются ареалами археологических культур. Гидронимия на *-ома*, *-ема* в ареальном отношении соотносится с дьяковской культурой (сетчатой керамики) и городецкой культурой (рогожной керамики). Археологи датируют их второй половиной I тыс. до н.э. и первой половиной I тыс. н.э.



ГРОМ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

И.В. ГРАЧЁВА,

кандидат филологических наук

Многим, наверное, памятна кульминационная сцена из пьесы А.Н. Островского “Гроза”, когда разразившееся над городом Калиновым грозное ненастье вдруг приводит Катерину к истовому, природному покаянию. Но вряд ли кто задумывался, почему именно эта гроза произвела на героиню такое впечатление? Тема приближающейся грозы, нарастая, проходит через всё четвёртое действие пьесы. Оно открывается разговором обывателей: “– Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась? – Гляди, сберётся” (Островский А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 266; далее – только стр.). В третьем явлении автор даёт ремарку: “*Вдали удары грома*”. За этим следует реплика Варвары: “Никак, гроза?” (271). В пятом явлении спрятавшиеся под аркой полуразрушенной церкви горожане с суеверными опасениями всматриваются в наплывающие тучи. В шестом – удары грома раздаются над самой аркой, наполняя ужасом душу Катерины. И в то же время из пьесы мы узнаём, что всё это происходит в большой праздник. Одна из женщин говорит: “– А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли” (266). Первое действие пьесы также связано с праздником. Дикой ругает племянника, отправившегося на бульвар, а тот оправдывается: “Праздник; что дома-то делать!” (225).

Для современников драматурга, хорошо знавших распорядок цер-

ковных празднеств, временные рамки событий пьесы определялись вполне точно. В первом действии речь идёт, по всей видимости, об очень чтимом в народе празднике Казанской Божьей матери (8/21 июля). На следующий день (9/22 июля) Тихон утром уезжает по делам, а ночью Варвара уговорит Катерину выйти на свидание к Борису. После этого, как указывает сам автор в предваряющих пьесу пояснениях, проходит 10 дней (с 10/23 июля по 19 июля / 1 августа). Четвёртое действие приходится на 20 июля / 2 августа, то есть на Ильин день.

Писатель прошлого века С.В. Максимов в очерках, посвященных праздничному народному календарю, сообщал, что на Руси этот день считали особенным, “одним из самых опасных”, и называли его “грозным” и “сердитым”. Согласно общераспространенным представлениям это был день Божьего гнева и суда: Илья-пророк выезжал на огненной колеснице на бой с нечистой силой, поражая огненными стрелами и бесов, и отягощённых грехами людей. Максимов рассказывал: “Если в этот день на небе появятся тучки, народ с боязнью следит за ними глазами; если дело доходит до грозы, то боязнь эта переходит в панический страх: всё население забивается в дома, закрывает наглухо двери, занавешивает окна и, зажигая перед образом четверговые свечи, молит пророка сменить гнев на милость”. Народ верил, что этот день не пройдёт без несчастья: «то молния зажжёт деревню, то “громом убьёт” человека или скотину, то градом выбьёт хлеб» и т.д. (Максимов С.В. Литературные путешествия. М., 1986. С. 347–348).

Эти поверья находят отражение и в пьесе Островского. Обыватели, прячущиеся от грозы, в приближающихся тучах видят нечто одушевлённое: “– Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьётся, ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползёт, так и ползёт, как живая! – Уж ты помяни моё слово, что эта гроза даром не пройдёт. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьёт кого-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь...” (273).

Обычно наиболее религиозные люди, стремясь избежать гнева Ильи-пророка, постились всю Ильинскую неделю. Катерина же в это время тайком уходила ночами на свидание к Борису. И не случайно она уверена, что именно для неё настал день расплаты. Варвара рассказывает: “Давеча утром плакать принялась, так и рыдает” (270). Мужу Катерина признаётся: “Тиша, я знаю, кого убьёт”. Тот простодушно удивляется: “Ты почём знаешь?” Катерина с уверенностью отвечает: “Меня убьёт”. И, словно подтверждая её опасения, звучит обращённая к ней реплика сумасшедшей барыни: “От Бога-то не уйдешь!” (273–274). Ещё раньше Катерина говорила Варваре, чем её пугает внезапная гибель: “Не то страшно, что убьёт тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми” (239–240). И когда над самой её головой раздался удар ильинского грома, она спешит принести чистосердечное покаяние перед Богом и людьми.

Именно в Ильин день, когда все с трепетом ожидают, на кого обрушится неминуемая Божья кара в виде “громовой стрелы”, Кулигин пытается убедить Дикого в необходимости сделать в городе громоотводы. Такое предложение вызывает у купца гневное возмущение: “Да гроза-то чтó такое по-твоему, а? (...) Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли?”. У Дикого своя логика: как можно мешать высшему промыслу бороться с дьявольскими силами? А приведённые Кулигиным строки Державина “Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю” Дикому представляются чуть ли не политической крамолой: “А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! прислушайте-ка, что оно говорит!” (269).

Скорей всего, имени Державина дремучий купчина никогда не слышал, а поэтические иносказания принял как притязания на власть всевышнего. В то время на Руси среди сектантов то и дело появлялись и лже-Христы, и лже-Богородицы, в северных губерниях ходили легенды, будто в каком-то селении живёт святой Николай-угодник, воплотившийся вновь в человеческом образе. Правительство и церковь боролись с сектантством самыми решительными мерами. И Дикой, услышав, будто некий Державин приписал себе способность “повелевать громам”, то есть попросту – объявил себя Ильёй-пророком, считает, что это непременно следует довести до сведения городских властей.

Однако, как показывает драматург, Катерину погубит не Божий гнев, а человеческая жестокость. И недаром её имя в переводе с греческого означает “чистая”. Её душа, трепетная, открытая, совестливая, способная и на жалость, и на любовь, и на покаяние, действительно, чище и светлей, чем души тех, кто становится её судьями. В пьесе странница Феклуша рассказывает сказочное предание о далёком царстве, где всё наоборот, все естественные нормы и порядки перевёрнуты, а правители приносят своему народу одни беды: «... И суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, всё неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. (...) И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: “Суди меня, судья неправедный!”» (241). В контексте пьесы это, на первый взгляд, безыскусно-наивное повествование приобретает глубокий символический смысл. Такой неправедной землёй, где всё наоборот, в сущности оказывается сам город Калинов, а шире – и вся Россия.

Смысл названия города – Калинов – может раскрываться по-разному. С одной стороны, это название символизирует поэтическую красоту природы, которая могла бы стать для людей земным раем. Недаром пьеса открывается репликами Кулигина, который не устаёт восхищаться живописным местоположением их городка: “– Чудеса, истинно

надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и всё наглядеться не могу. (...) Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется" (224). Но следует учесть, что вся пьеса построена на фольклорных мотивах, в ней звучат народные песни, легенды, обращение Катерины, разлучённой с Борисом, к силам природы ("Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску!" – 278) восходит к поэтике причитаний.

Композиция пьесы необычна. Первое действие открывается музыкальной "увертюрой". Как только поднимается занавес, зритель слышит песню на слова А.Ф. Мерзлякова "Среди долины ровныя...". В ней, согласно законам фольклорного параллелизма, образ дуба переосмысливается как образ молодца, сетующего на своё одиночество. И хотя на сцене звучали лишь первые строки песни, она была широко известна, и наверняка многим были памятли её слова:

Ах, скучно одинокому
И деревцу расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести! (...)
Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!

(*Русские народные песни. М., 1957. С. 357*).

Тему этой песни Островский трансформировал в судьбе Бориса, одинокого в чужом городе и на беду влюбившегося в женщину, на взаимность которой он не смел рассчитывать. А мотив гибели героини, звучавший в этой песне, получит развитие в последнем действии "Грозы". Наполнено песнями и всё третье действие. Запретное свидание, на которое выходят ночью Катерина и Варвара, комментируется словами распространённой песни о том, как героиня, получив разрешение погулять "до вечерней до зари", прогуляла с милым до самого утра. И в то время, как Варвара и Катерина поднимаются к дому по склону оврага, вслед им звучит:

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась...

Здесь поведение героев почти напрямую повторяет песенный сюжет. Вероятно, в этом фольклорном ключе следует искать и расшифровку названия города – *Калинов*.

А.Н. Афанасьев утверждал, что в славянском фольклоре «девичья краса превращается в калину, так как красный цвет ягоды калины, на основании древнейшего, коренного значения слова "красота", принят

был символом этого эстетического понятия» (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. Т. 2. С. 253). В то же время красивые, но горькие ягоды калины вызывали в народной лирике и другие ассоциации. Часто в песнях, где калина становится параллелью образу героини, речь идёт о несчастливой, разбитой любви, о разлуке. Такова известная песня “При долинушке стояла, / калину ломала...”, где героиня, расставаясь с любимым, просит:

“Воротися, моя радость,
Воротись, надежда!
Не воротись, надежда, –
Хотя ж оглянися;
Не оглянешься, надежда, –
Махни чёрной шляпой...”

(Народные лирические песни. Л., 1961. С. 139–140).

В песне “На горе калинушка стояла...” речь идёт о невозможности соединения влюблённых, которым уготована разная участь:

Пора тебе, молодец, жениться,
Тебе, красной девице, постричься!

(Там же. С. 348).

Иной вариант представлен в песне “При долине куст калинушки стоит...”, в которой рассказывается, как красавицу-девушку выдают за немилого и она обращается к своему другу:

Ах, прошли, прошли весёлые часы,
Миновала наша прежняя гульба –
Доставалась старому молода...

(Русские народные песни. С. 145).

Таким образом, название города “Калинов” предопределяет историю горькой любви, недолгой радости и разлуки Катерины и Бориса.

С другой стороны, в русском богатырском эпосе нередко упоминался “Калинов мост” как место обитания чудовищ, грозящих людям гибелью, а также существовал ряд былин о борьбе Ильи Муромца с немилосердным Калином-царём, захотевшим “повоевать” русскую землю и забрать её жителей в полон. В пьесе Островского в первом же действии Кулигин так характеризует жизнь в Калинове: “Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!” Здесь властвуют люди, чьи фамилии вызывают ассоциации со свирепыми чудовищами – *Кабанова, Дикой*. Здесь не живут, а воюют. Про Дикого Шапкин говорит: “Одно слово: воин!” А Кудряш поддакивает: “Еще какой воин-то!” (228). Сам Дикой так поясняет Кабановой своё нежелание идти домой: “А потому

что у меня там война идёт”. На что Кабанова отвечает: “Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть” (254).

Тему “войны” в пьесе сопровождает тема “неволи”. Когда Кулигин удивляется, что за охота Борису жить у Дикого и сносить все его попрёки, Борис печально отвечает: “Уж какая охота, Кулигин! Неволя”. Катерина говорит о жизни в доме Кабановых: “Да здесь всё как будто изпод неволи”. Тихон, с радостью уезжая из дома, заявляет: “...Сэтакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь!” (226, 236, 247).

На уровне фольклорных переосмыслений город в пьесе Островского предстаёт как некое *Калиново царство*, где томятся в неволе люди. Сцена грозы, как и само название пьесы, в этом контексте приобретает символическое значение. В былинах на бой с Калином-царём выходил Илья Муромец. Но в простонародных поверьях зачастую этого богатыря отождествляли с Ильёй-пророком. Народ полагал, что «после смерти богатырь Ильюшка становится святым Ильёй, который “заведует” громовой тучей. В этом случае образ богатыря Ильюшки контактируется с Ильёй-пророком как вариантом Громовержца, преследующим, в частности, Змея, нечистого и т.п.» (Мифологический словарь. Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1991. С. 242–243).

Гроза, разразившаяся в Ильин день над Калиновом, словно олицетворяла борьбу сил света и тьмы за будущее этого города. Так через поэтику народных сказаний драматург передавал суть “грозовой” атмосферы предреформенной поры, когда решалась будущность России.

Рязань



Сорванец

Н.С. АРАПОВА,
кандидат филологических наук

Этимологические словари русского языка не рассматривают слова *сорванец*. В словообразовательном отношении оно вполне прозрачно: это суффиксальное производное (с суффиксом *-ец*) от причастия *сорванный* (в диалектах отмечается и без суффиксов: “Сорван. Сорванец” – А. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия. 1885). Глагол *сорвать* – от *рвать*. Но слова *сорванец* нет даже в обширном перечне производных от глагола *рвать* в Этимологическом словаре русского языка А. Преображенского.

Словарь Д.Н. Ушакова приводит следующую дефиницию слова *сорванец*: “шалун, озорник, безобразник” и сопровождает ее пометой *разг[оворное]* (Т. IV). Словарь С.И. Ожегова (1972) тоже отмечает разговорный характер этого слова, а в качестве объяснительного синонима дает только *озорник*. В современном разговорном языке *сорванец* употребляется, как правило, по отношению к детям и подросткам. Однако в “детскую сферу” это слово спустилось поздно – по-видимому, уже в XX веке, а в XIX оно обычно характеризовало **взрослых** людей.

Так, в Словаре языка Пушкина (Т. II.) *сорванец* толкуется как “наглый повеса, забияка”. В “Капитанской дочке” старик Гринев пишет провинившемуся сыну: “Ты доказал, что шпагу носить еще недостойн,

которая пожалована тебе в защиту отечества, а не для дуэлей с такими же сорванцами, каков ты сам". Здесь можно было бы усмотреть отношение отца к сыну как к мальчишке. Но в письме А.С. Пушкина И.И. Дмитриеву 14 февраля 1832 года речь идет, бесспорно, о взрослых: "Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем!". Или в "Сне Обломова" И.А. Гончарова (1849): "Они [хозяева Обломовки. – Н.А.] с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат, и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе рюмку вина. Впрочем, такого разврата там почти не случалось: это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек; такого гостя и во двор не пустят". И значительно позже, в "Мелочах архиерейской жизни" Н.С. Лескова (1878): "Вот и наскочил, – так тебе, сорванцу, и надо!" это относится не просто к взрослому человеку, а к полицейскому генералу, который направил митрополиту Филарету письмо с замечанием, что в московских приходских церквях плохо поют: Филарет же расценил это как дерзкое вмешательство не в свое дело и недопустимое превышение власти со стороны светского лица, пусть и генерала.

Словарь Академии Российской (1794), где по данным семнадцатитомного Словаря современного русского литературного языка *сорванец* фиксируется впервые, определяет это слово как "шалун, наглец". *Сорванец* встречается и ранее в текстах XVIII века. В комедии М.И. Веревкина "Имянинники" (1774) так зовут одного из слуг, ловкого и находчивого (другой для контраста носит имя *Ротозей*).

Современному же значению *сорванец* в Словаре Академии Российской более соответствует значение другого слова: "**Вешаной. Простонар(одное).** Тот, которой неумеренно резвится. Эдакой вешаной" (1789).

Так кто же такой *сорванец*? *Сорванец* – это правонарушитель, приговоренный к виселице и сорвавшийся с нее во время экзекуции (то же самое можно отнести и к уже приведенному причастию *вешаный*). "Средние века нашей истории были эпохой отвратительной жестокости, но и тогда, если преступник, приговоренный судом к смертной казни, срывался с виселицы – его оставляли жить" (М. Горький. Несвоевременные мысли. 1917–1918). В Петровское время такой человек свободы не получал: "Когда палач... кого имеет повесить, а веревка порветца, и осужденный с виселицы оторветца, и еще жив будет, того ради осужденный не свободен есть" (Артикул воинский 1715 г. – СлРЯ XVIII в. Вып. 3). Избегавшие повешения преступники рассматривались как весьма опасный элемент общества: "Чтоб черт побрал всех этих побродяг, которые сорвавшись может быть с виселицы приезжают сюда и ворочают как хотят всем домом" (комедия "Мнимый мудрец", 1789 г. – там же). В Вейсманновом Лексиконе (1731) дан такой

пример: “Galgenschwengel... бешеный, будто с виселицы сорвался”. И в середине XIX века *сорвавшиеся с виселицы* – обычное определение наглых головорезов. Так, в статье А.И. Герцена «“Библиотека” – дочь Сенковского» (1860) читаем: “...можно указать ... на Диккенса с его Оливером Твистом и героями, сорвавшимися с виселицы, о которых он рассказывает подробности shocking”. Еще и в XIX веке простые люди верили в то, что сорвавшихся с виселицы повторно вешать нельзя, и когда при казни декабристов трое из них сорвались, но были повешены вторично, это вызвало в солдатской массе – даже среди тех, кто не сочувствовал бунту против царя, – протест и истолковывалось как дурное предзнаменование для царя и России.

Существительному *сорванец* близко по значению слово *оторва*. Оно образовано от глагола *оторвать(ся)* и тоже связано с казнью на виселице: *оторва* – это преступник, оторвавшийся при повешении, оставшийся в живых и вследствие ненаказуемости обнаглевший вконец. В Толковом словаре В.И. Даля оно дано с пометой московское и сопровождается толкованием *отябель* “бесстыжий наглец”, отчаянный, окаянный” (Даль. Т. II). В современном просторечии слова *оторва*, *оторвяга* – теоретически общего рода, как *пройдоха*, *раззява*, *растрепан*, но в речи чаще адресуется девочкам, нежели мальчикам.

В Словаре Даля мы находим также слова *урванецъ*, *урвень* и *урва* “сорванец, сорвиголова” (Т. IV).

С казнью на виселице связано и слово *повеса*. Оно отмечается в словарях с 1771 года. Его исконное значение “висельник, преступник, заслуживший виселицу; негодяй”, позднее подвергалось той же семантической эрозии, что и у слов *сорванец* и *оторва*. В середине XVIII века оно уже значит “безобразник, бездельник, совершающий различные (часто небезопасные) проделки”: “Славу свою в том считаешь, чтоб похвастать и уязвить кого-нибудь и в комедиях повесничать. {...} Кричишь ты в комедии, с подобными себе повесами, кучею собравшись, столь громко, что заглушаешь комедиантские речи и зрителей огорчаешь” (В.И. Лукин. “Задумчивый”. 1769). Но исконное его значение – “висельник” – подтверждается Далем, который приводит ряд диалектных слов с тем же корнем: *висляй*, *висляйка*, *вислуха*, *вислушка*, *вислена*, *висляга* “праздный шатун, повеса” (Т. I). В XIX веке *повеса* приобретает “донжуанский” оттенок и окончательно закрепляется за лицами мужского пола, но в XVIII веке оно употреблялось и применительно к женщинам. Так, в комедии М. Веревкина “Так и должно” *повесой* хозяйка дома называет служанку Маланью.

К существительному *сорванец* близко по значению *сорвиголова* (Даль. Т. II, также *оторвиголова*). Существительное *сорвиголова* имеет более позднюю лексикографическую фиксацию: по данным семнадцатитомного Словаря современного русского литературного языка оно впервые зафиксировано в Словаре Академии наук 1847 года. Но

Г.П. Князькова (Русское просторечие второй половины XVIII века) отмечает его в текстах XVIII века. Для составителей академического словаря 1847 года *сорвиголова* и *сорванец* были синонимами: "**Сорвиголова**. Смелчак, на все готовый, дерзкий человек, сорванец". Но у *сорвиголова* другая словообразовательная мотивировка, нежели у *сорванец*. Существительное *сорвиголова* возникло на базе фразеологизма *сорвать голову кому-либо*: "За дерзость такую / Я голову с тебя сорву" (И.А. Крылов. Волк и Ягненок).

Русское *сорвиголова* соответствует украинскому *зірвиголова*, возможно, это слово попало в русский язык из украинского и на русской почве претерпело фонетическую адаптацию. На украинский источник указывает словообразовательная структура *сорвиголова* с первым глагольным компонентом, что характерно для украинских сложных слов, тогда как русские композиты предпочитают ставить глагольный компонент на второе место, например, словообразовательные кальки научнолатинского ботанического термина *saxifraga*: русское *камнеломка* и украинское *ломикамінь*.

За знакомой строкой



“...И пунша пламень голубой”

*В.Г. ДОЛГУШЕВ,
кандидат филологических наук*

“Гастрономическая” тема была излюбленной для Пушкина. Любителем изысканных кушаний и вин, гурманом он называет себя в XXXVI строфе пятой главы “Евгения Онегина”:

И, кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

Отчаянное озорство, бесшабашность, кутежи, повесничанье, молодчество были своеобразной модой в среде дворянской молодежи конца 10 – начала 20-х годов XIX века, своеобразной данью “русскому дендизму”. Мемуарист Андрей Иванович Дельвиг, двоюродный брат А.А. Дельвига вспоминал о том времени: “... Пушкин и Дельвиг рассказывали нам о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах <...>

просто им захотелось потряхнуть стариною и показать ее нам, молодому поколению, как бы укор нашему более серьезному и обдуманному поведению" (Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1994. Т. 1).

Излюбленными спиртными напитками на кутежах "золотой" молодежи и студенческих пирушках, кроме шампанского, были пунш и ром. В.В. Вересаев в очерке "Александр Сергеевич Пушкин" писал о поэте следующее: "Был лихим повесой, задирой, всегда готовым драться на дуэли. Это в то время считалось хорошим тоном. Хотел, чтобы его считали кутилою. Явится в общество и пошатывается.

– Что это вы, Александр Сергеевич?

– Да вот, выпил двенадцать стаканов пуншу!

А вправду и одного не допил. Пил из молодечества, чтобы не отстать от других или их перепить. Однажды на пари выпил целую бутылку рома. Из того же молодечества держался вызывающе" (М., 1936). Такой характер поведения части дворянской молодежи в эпоху двадцатых годов был своеобразным вызовом нормам и приличиям светского общества. Преднамеренный эпатаж носил элементы фрондерства, оппозиции существующему строю.

Слово *пунш* в пушкинской лирике встречается семнадцать раз (Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. 3). Пунш воспринимался людьми пушкинского круга как символ непринужденной дружеской беседы, эпикурейского отношения к жизни, свободомыслия. В поэме "Медный всадник", обращаясь к Петербургу, поэт писал:

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

В русском языке слово *пунш* известно с начала XVIII века. М. Фасмер отмечал как первую его фиксацию 1703 год (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III). М.А. Цявловский так охарактеризовал этот напиток: "**Пунш** – напиток, привезенный в Европу в конце XVII в. англичанами. Приготавливается из пяти составных частей: воды, чая, арака [ячменная или пшеничная водка. – В.Д.], лимонного сока и сахара. Согретый пунш поджигается" (Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997). По общему мнению этимологов и историков языка, слово *пунш* восходит к языку хинди, где *pāñ* с назализованным *a* из древнеиндийского *pāñsa*. Через английский язык (ср. *punch*) оно попало во французский (*punch*) и немецкий (*Punsch*) языки, а через посредство немецкого – в русский (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. II).

Первая словарная фиксация его в русском языке относится однако лишь к 1803 году: оно отмечено в словаре Н.М. Яновского. Там же зафиксировано и слово *ром*, обозначающее крепкий спиртной напиток из сахарного тростника или патоки. В литературе же XVIII века это слово впервые отмечено в русском переводе романа Д. Дефо “Робинзон Крузо” (Ч. I., 1762) в форме *рум* (Черных П.Я. Указ. соч.). В русский язык оно заимствовано из английского (ср. *rum* этимология которого до конца не выяснена). Следует отметить, что ром был достаточно хорошо известен в России в двадцатых годах XIX века. Он мог употребляться не только в качестве спиртного напитка, но и добавляться в обычные напитки, например, в чай, ср. в “Евгении Онегине”:

Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков...

Как отмечал М.А. Цявловский, кроме пунша и рома в стихах Пушкина употребляются также названия таких горячих напитков, как *гроз*, приготавливавшийся из воды, сахара, водки, лимонного сока; *глинтвейн* – напиток из вина, сахара, пряностей; *гоголь-моголь* – “соединение желтка, сбитого с сахаром, рома и кипятка” (Путеводитель по Пушкину), а также *жжёнка*. Жженка отличалась от пунша, прежде всего тем, что в ее составе отсутствовала вода. А.С. Пушкин в послании “К Языкову” (1826) так писал о ее особенностях:

Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.

Эти строчки следует, по-видимому, понимать таким образом, что время появления этого напитка относится именно к двадцатым годам, и напиток этот был создан в России, на что указывает и разговорный характер самого слова, образованного суффиксальным способом от прилагательного *жженный*. Ю.М. Лотман так описывал процесс создания жженки: “горячий напиток, приготавливавшийся из коньяка или рома, сахара, лимона и пряностей; жженку поджигали и тушили вином” (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1983). Интересно отметить такой любопытный факт: в стихотворении 1845 года “К баронессе Е.Н. Вревской” Н.М. Языков, вспоминая о том времени, когда он встречался с Пушкиным в Тригорском, упоминал несколько иное название напитка:

Как хорошо тогда мы жили!
Такой огонь нам в душу лили
Стаканы джонки ромовой!
Ее Вы сами сочиняли:
Сладка была она, хмельна;
Ее Вы сами разливали, —
И горячо пилась она...

(Пушкин и его современники. СПб., 1903. Вып. 1). В академическом издании стихотворений Н.М. Языкова название напитка дано в современной форме (Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988). И здесь мы встречаем недвусмысленное указание на то, что жженка была изобретена в доме Осиповых-Вульф. Так было на самом деле или нет, — неизвестно. Вероятно, многие дворяне пробовали составлять по своим рецептам горячие напитки, равно как и всевозможные наливки. А вот как описывал Языков состав жженки в своем послании “А.С. Пушкину”:

Когда могущественный ром
С плодами сладостной Мессины,
С немного сахара, вином,
Лился в стаканы-исполины?
Как мы, бывало, пьем да пьем,
Творим обеты нашей Гебе,
Зовем свободу в нашу Русь,
И я на вече, я на небе!

Как видим, мотив пуншевого застолья и здесь сочетается с мотивами дружбы, свободомыслия. Как вспоминал А.Н. Вульф, Пушкину очень понравилась жженка, которую каждый раз готовила Е.Н. Вульф “Сестра моя Euphrosine, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку (...) и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдёте немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова, — сидим, беседуем да распиваем пунш” (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1).

В 1902 году серебряный ковш, в котором варила жженку Евпраксия Вульф, Б.Д. Модзалевский вывез из Тригорского в Петербург, в Пушкинский Дом.

Однако откуда же взялся в стихах Н.М. Языкова вариант *джонка*? Вероятно, он ориентировался на английское произношение, поскольку знал, что данный напиток возник на основе пунша, состоит почти из тех же составных частей, а слово *пунш* заимствовано из английского языка. Может быть, этим Языков хотел подчеркнуть свой дендизм?

Интересно, что в среде дворянства существовал особый порядок употребления вин и горячих напитков. Так, шампанское истинные гурманы употребляли лишь с жарким, хотя оно могло подаваться к любому блюду. Именно поэтому на балу у Лариных цимлянское – сорт дешевого шампанского, указывающий на непритязательность хозяев, – подается “между жарким и блан-манже” (см. подробнее: Лотман Ю.М., Погосян Е.А. Великосветские обеды: Панорама столичной жизни. СПб., 1996).

Таким образом, “гастрономическая” тема – это не просто прихоть Пушкина или отражение склада его характера: она выполняет в художественном мире поэта особые функции, очень точно и конкретно характеризует быт и уклад дворянского общества того времени, принадлежность персонажей к определенному социальному кругу (высшему свету, провинциальному дворянству, студенческой среде, русским денди и т.д.). Образы безудержного разгула, дружеских попоек ассоциировались у Пушкина с поэзией, дружбой, свободомыслием, вольнодумством. В стихотворении “К Каверину” (1817) он писал:

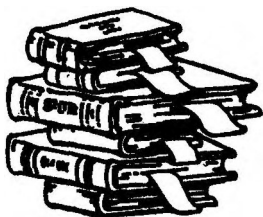
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

В “десятой главе” “Евгения Онегина” вовсе не случайно рядом с разговорами о будущем России, о политическом переустройстве общества, поэт рисует и дружеское застолье:

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки...

Виднейший представитель декабристского движения Михаил Лунин представлен Пушкиным как “Друг Марса, Вакха и Венеры”. Именно в спорах “между Лафитом и Кликко” оттачивались свободололюбивые идеи декабристов. И здесь, как и вообще в поэзии Пушкина, бытовые детали являются средством раскрытия художественного образа, служат определенной художественной задаче.

Киров



ПОМОЩЬ ИЛИ МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА?

Ю.А. ОЗЕРОВ,

кандидат педагогических наук

Похоже, что рыночные отношения все настойчивее вторгаются во все сферы нашей жизни, и даже в образовательную систему. Книжные магазины буквально завалены пособиями, сборниками, содержащими тексты готовых сочинений для школьников и абитуриентов. Назначение этих непременно “лучших”, “образцовых”, “золотых” работ – “помочь при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам в вузы”.

В заглавие одного из последних таких творений вынесен жаргонизм, и не в ироническом, а в утверждающем значении: “Сборник лучших сочинений – шпор по литературе для поступающих в вузы”. Автор-составитель Е.В. Дианова. СПб., 2000. И уж совсем неудивительны предпосланные указанному “сборнику” строки: “Читатели, несомненно, оценят его практичность и удобство в использовании”. (Вспоминаются брошюры недавних лет с не менее выразительными названиями: “Любое сочинение – без проблем”. Составитель Е.А. Васильева. М., 1991; “Последний шанс! Литература”. М., 1992. Автор и издательство не названы; “Написать сочинение? Это очень просто”. М., 1993. Автор не указан.) Другими словами, беззастенчиво рекомендуются самые обычные шпаргалки. Остаётся только одна, чисто техническая сторона: разрезать ножницами пополам каждый лист, содержащий по два текста, напечатанных мелким шрифтом, поместить “шпоры” в потайные места и умело применить в деле. А результат, как правило, печальный. Присмотримся к подобному рода опусам поближе: отвечают ли они известным требованиям к экзаменационному сочинению?

1. Соответствие теме.

В “Сборнике лучших сочинений – шпор...” под порядковым номером 23 значится тема: «Сатирическое изображение помещиков в поэме

Н.В. Гоголя “Мёртвые души”. Неверное прочтение темы привело, в сущности, к подмене её другой. В приведённом сочинении последовательно даются характеристики различных типов русских помещиков, тогда как нужно было раскрыть своеобразие творческого метода писателя, художественные приёмы, которые использует Гоголь как сатирик в изображении крепостников (гиперболизм, бытовая детализация, морально-психологический портрет, речевая характеристика, неожиданность положения, в котором оказывается герой и в котором вдруг ярко проявляются существенные свойства его натуры, алогизм, двуплановость, то есть сопоставление реального и мнимого и т. др.).

В пособии “300 сочинений на отлично” (М., 2000. Без автора) среди прочих предлагается сочинение на тему: «Образ Петра I в романе “Петр I”» (у А.Н. Толстого – “Петр Первый”). Работа представляет собой всего-навсего простой пересказ реформаторской деятельности царя. Между тем в сочинении-характеристике литературного героя необходимо показать жизненные обстоятельства и условия, в которых он формировался как личность; рассмотреть черты его характера, взгляды, нравственные принципы и как все эти качества проявляются в поступках героя, в его взаимодействии с разными людьми; проследить эволюцию характера в сюжетном развитии произведения; помимо других способов художественной обрисовки образа раскрыть особенности речи персонажа, в которой обнаруживается его неповторимая индивидуальность; выявить отношение автора к герою. Если же раскрытию подлежит образ исторического лица, как в данном случае, следует отметить также, насколько соответствует художественное изображение Петра как государственного деятеля исторической правде.

2. Глубина раскрытия темы.

В сочинении “Своеобразие психологизма Достоевского” (“Сборник школьных сочинений. 252 варианта”. М., 1999. Автор не указан) говорится о некоторых принципах раскрытия внутреннего мира и сознания героев романа “Преступление и наказание” (портрет, монолог, диалог, сны, обстановка и пейзаж). Однако наряду с этими обычными приёмами для литературного произведения важно проанализировать и те особенности психологизма, которые свойственны именно данному художнику. Прежде всего это полифонизм (многоголосие) романа, который проявляется в соотношении характеров (“голосов”) персонажей друг с другом и с социальными условиями; вне этой соотносённости характеры теряют свой смысл.

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что в так называемых “готовых” сочинениях, посвященных лирике, как правило, отсутствуют разбор, истолкование поэтического текста в единстве формы и содержания. А ведь мало сказать, какие заключены в стихотворении или поэме темы, идеи, чувства, настроение, образы; необходимо показать, какими художественными средствами они создаются,

выражаются. Недостаточно говорить о любви поэта к родной природе, о чувстве глубокой тоски и светлой печали, о восторгах и скорби, вызванных определенными событиями личной или общественной жизни; нужно еще рассмотреть название лирического или лироэпического произведения (если оно есть), композицию, жанр, осознать специфику употребления слов, их смысловые и эмоциональные оттенки (тропы, стилистические фигуры и т.п.).

В пособии «300 сочинений на "отлично"» в сочинении под названием «Поэма "Мцыри" как романтическое произведение» даже не затрагиваются особенности стиха, поэтические средства, делающие язык произведения Лермонтова ярким, эмоциональным, гармонирующим с могучей натурой героя и его трагическим положением.

В сопровождении к "Полному тематическому сборнику сочинений по литературе" (СПб., 2000. Составители не указаны) говорится: "Настоящий сборник составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьным сочинениям и сочинениям по литературе на вступительных экзаменах в вузы". И что же? Например, из трех привлекаемых для разбора стихотворений в сочинении "Любовь в лирике Пушкина" ни одно не рассматривается в идейно-художественном плане. Сказано, в частности, о любви как "чувстве бескорыстном, полном бережности и уважения к человеку" ("Я вас любил..." С. 25), однако не анализируются композиция стихотворения, его тональность, отбор слов, звуковая организация, средства и приемы, придающие наибольшую выразительность образу любимой и усиливающие эмоциональную окраску всего произведения.

3. Логичность, последовательность изложения, доказательность высказанной мысли.

Несомненно, школьник или абитуриент может выразить в своей работе то, что его заинтересовало, заставило задуматься, что привлекает или отталкивает, что, с его точки зрения, сохранило значение для современности и что ушло в прошлое. В такой работе взаимодействуют и интеллект и чувства пишущего, проявляется его отношение к избранной теме. Однако судить о произведении самостоятельно поступающий должен с позиций истин, уже известных в литературной науке и исторической практике, то есть должна быть строгая аргументация тех или иных высказываний, и каждое принципиальное утверждение и выдвигаемое положение должно быть подкреплено ссылкой на художественное произведение, критическую статью, исторический источник. Только при таком условии выводы и обобщения являются логическим следствием рассуждений.

Автор сочинения «Живые и мертвые души в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"» ("Экзаменационные сочинения. 400 золотых страниц". М., 1998. Автор не назван) проявляет трогательное, почти умиленное отношение к Плюшкину и Чичикову, в которых видит живые

души. При этом делается попытка аргументировать свою позицию: «При упоминании о школьном товарище на лице Плюшкина “скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства”»; Чичикова зовут Павел, это имя апостола, пережившего духовный переворот» (С. 93). Однако такая аргументация остается лишь претензией. Пишущий совершенно абстрагируется от социальных, экономических, моральных и других фактов, под влиянием которых истлела живая душа Плюшкина, если даже раньше она была (патологическая скупость поглотила все его духовные интересы), а сущность Чичикова как авантюриста и мошенника вряд ли изменится: во втором томе поэмы этот персонаж не становится “добродетельным человеком”, не переживает нравственного обновления, что еще раз подтверждает провидение Гоголя: на страну надвигается что-то темное и неотвратимое, Чичиковы несут народу страшную угрозу...

И еще одна фраза в том же “золотом” сочинении: «Мертвые крестьяне в “Мертвых душах” обладают живыми душами, в отличие от живого народа поэмы, душа которого мертва» (там же). Здесь нарушение одновременно и логики и факта. Оупение Селифана и Петрушки, девочки Пелагеи – следствие уродливых социальных отношений, но зачем же обобщать (душа живого народа мертва)?

В работе «Прошлое, настоящее и будущее в пьесе А.П. Чехова “Вишневый сад”» сказано: Петя Трофимов и Аня Раневская “порывают с прошлым, они честны, умны, жаждут искупить свою историческую вину перед народом” (“*Полный тематический сборник сочинений по литературе*”. С. 166). Возникают вопросы: с каким прошлым порывает разночинец Трофимов? Какую историческую вину перед народом стремится искупить семнадцатилетняя Аня? Суждения автора сочинения абсолютно бездоказательны, точнее, надуманны.

4. Достоверность в освещении литературных и исторических фактов.

В уже упоминавшемся нами “Сборнике лучших сочинений-шпор...” есть и такое: “Путь Пьера Безухова к счастью”. Почти целиком, причем под другим названием и без каких-либо ссылок, оно списано из книги Ю.А. Озерова “Экзаменационное сочинение на литературную тему” (М., 1995. С. 21–25). Но стоило составителю несколько отвлечься от готового текста, как допущена грубая фактическая ошибка, связанная с пониманием мировоззрения Л.Н. Толстого. В конце этого “сочинения-шпоры” говорится: “Путь к правде слишком труден, но, в итоге, он приводит Пьера Безухова в тайное политическое общество, выступающее против крепостничества и самодержавия” (С. 50). Однако в романе этого нет. В.Е. Хализев и С.И. Кормилов отмечают, что Пьер “ничего не говорит о крепостном праве и предстает как поборник сложившихся в России отношений, а вовсе не их переделки” (Роман Л.Н. Толстого “Война и мир”. М., 1983. С. 63).

Еще раньше Н.К. Гудзий прямо писал в своей книге: “Не следует, однако, преувеличивать политический радикализм Пьера” (Лев Толстой. Изд. 3-е. М., 1960. С. 88). Действительно, на вопрос Николая Ростова, в какие отношения станет тайное общество к правительству, Пьер отвечает: “Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел резать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, – мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности”. Значит, как для Толстого, так и для Пьера, противостоящего двум крайностям – деспотизму и революционному насилию, решающим в социальном переустройстве остается путь нравственного самоусовершенствования, “деятельной добродетели”. Другими словами, Пьер вступает в общество морально-этического характера, а не в декабристское общество, как это настойчиво утверждается во многих “пособиях”.

Путаницу литературных фактов можно обнаружить в сочинении «Особенности сюжета и композиции поэмы “Мертвые души”»: «Приступая к работе над поэмой “Мертвые души”, Гоголь писал, что ему хочется в этом направлении “показать хотя бы с одного боку всю Русь”. Так писатель определил свою главную задачу и идейный замысел поэмы» (“248 сочинений”. М., 2000. С. 43). Приведенные слова Гоголя (не совсем точно) действительно относятся к начальному этапу его работы над “Мертвыми душами”. При этом свое произведение художник называет “романом”. Мы читаем в письме к Пушкину 7 октября 1835 года: “Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь”. Но уже через год с небольшим в письме к Жуковскому 12 ноября 1836 года Гоголь говорит другое, называя “Мертвые души” “поэмою”: “Все начатое переделал я вновь... Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... Вся Русь явится в нем!.. Каждое утро... вписывал я по три страницы в мою поэму...” Именно этим высказыванием Гоголь определил главную задачу и идейный замысел своего произведения.

А вот примеры искажения исторических фактов. Из сочинения «Каким изображен Пугачев в повести “Капитанская дочка”» можно узнать о том, что «Пушкин, работая над “Историей Пугачева”... и “Капитанской дочкой”, получил доступ в государственный архив, где читал протоколы допросов Пугачева и других участников восстания» (1000 лучших школьных сочинений. Древнерусская литература – литература первой половины XIX века. М., 1999. С. 190). Однако хорошо известно, что “Пушкин не получил доступа к протоколам допросов Пугачева и его ближайших соратников” (Овчинников Р.В. Над “пугачевскими”

страницами Пушкина. Изд. 2-е. М., 1985. С. 12 и др. источники). Сам же поэт в предисловии к "Истории Пугачева", помеченном "2 ноября 1833. Село Болдино", выражал надежду: "Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд – конечно, несовершенный, но добросовестный".

В сочинении на тему «Романтизм в поэме "Двенадцать"» читаем: "Морозная ночь в Петрограде 1917 года" (300 сочинений на "отлично". С. 312). Однако действие в поэме происходит в начале 1918 года.

5. Точность цитат.

Составители "пособий" и "сборников" даже не берут на себя труд проверить приводимые цитаты по первоисточнику. Это обстоятельство, по всей видимости, свидетельствует не только о безответственности, недобросовестности, но и безнаказанности тех, кто причастен к подобного рода изданиям. Примеров огромное количество. Приведем лишь немногие из экономии места. В пособии «300 сочинений на "отлично"»: "Будь он семи пядей во лбу" (с. 73), у Пушкина – "пядень"; из стихотворения "Марбург" Пастернака: "...и ветер, как лодочник, греб по липам" (с. 344), у автора – "по лицам"; из стихотворения "Быть знаменитым некрасиво...": "Не это поднимает ввысь... / Цель творчества – самоотдача, / А не шумиха и успех" (с. 347), у Пастернака – "подымает", "А не шумиха, не успех".

В "Сборнике лучших сочинений-шпор...": из стихотворения "Кензель": "По аллее огненной вы проходите морево... / Точно лапы паучьи, точно лих ягуаровый" (с. 70), у Северянина стихотворение называется "Кэнзели": "По аллее олуненной Вы проходите морево... точно мех ягуаровый"; из стихотворения "Жираф": "Изысканный ходит жираф..." (с. 70), у Гумилева – "бродит"; из стихотворения "Заметался пожар голубой...": "Разонравилось петь и плясать" (с. 64), у Есенина – "пить".

В сборнике "1000 лучших школьных сочинений. Литература XX века" (М., 1999): из стихотворения "Август": "Обыкновенно свет без пламени / Нисходит в этот день с явора" (с. 18), у Пастернака – "исходит", "с Фавора" (название горы); из стихотворения "Пианисту понятно шнырянье ветошниц...": "...И клад этот где-то на стройках сыскав..." (с. 19), у Пастернака – "на свалках".

В сборнике "350 лучших сочинений" (Составитель Орлова О.Е. М., 1999): Наташа впервые появляется с "тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных башмачках..." (с. 280), у Толстого – "в кружевных панталончиках..."; из стихотворения "Нобелевская премия": "Я попал, как зверь в загоне..." (с. 450), у Пастернака – "Я пропал".

Поистине "золотым" является сочинение на тему «Размышления над прочитанной книгой... "Сестра моя – жизнь" Б.Л. Пастернака» в сборнике «250 "золотых" сочинений». По числу искажений поэтиче-

ского текста оно, пожалуй, побilo все рекорды и, что самое любопытное, триумфально переходит (с теми же искажениями) в другие сборники готовых сочинений.

6. Правильное словоупотребление; грамматико-стилистическая грамотность.

Многочисленные стилистические ошибки (в расширенном значении, включая ошибки речевые и грамматические) возникают как результат неверного словоупотребления, а также как следствие отклонений от различных грамматических норм: словообразовательных (нарушение структуры слова), морфологических (нарушение формы слова), синтаксических (нарушение структуры словосочетания или предложения). Приведем примеры разновидностей этих ошибок, которые отличают большинство сочинений: «Впервые Печорин предстает в романе перед Максим Максимычем в крепости...» (300 сочинений на «отлично». С. 153); «Поэма «Двенадцать» насыщена революционной окраской» (Там же. С. 312); «У читателя возникает невольное сочувствие и даже восхищение крестьянским вождем...» (Сборник сочинений. С. 37); «В образе Ноздрева Гоголь создал социально-психологический тип «ноздревщины»» (Сборник лучших сочинений-шпор... С. 36); «Сам хозяин – бесполое существо, напоминающее ключницу» (Там же. С. 36) и т.д.

Л.С. Айзерман в своей недавно опубликованной большой статье, в целом посвященной изучению словесности в школе, с горечью констатирует: «Знакомая учительница литературы сказала мне, что она вообще отказалась от домашних сочинений: списывают с типографских шпаргалок. Но и в классных норовят найти ответ на поставленный вопрос в одной из многочисленных книжек этого типа». Далее автор делает вывод: «Естественно, в этих сборниках есть и вполне грамотные сочинения. Но все равно это для ученика не свое – прочитанное, продуманное, прочувствованное, добытое усилиями своего ума и своего сердца – а чужое, уже готовое... А ведь суть общения человека в литературе – в сопричастности, сопереживании, соразмышлении, сочувствии, сострадании... Есть чувства и мысли, которые трудно выразить, но даже то, что не высказано, а только пережито, имеет огромное значение для нравственно-эстетического становления человека» (Преданная литература // Континент. 2000. № 2).

В.И. МАКАРОВ, “Такого не бысть
на Руси прежде...”

Повесть об академике А.А. Шахматове

В истории русской филологической мысли есть имена, приковывающие к себе внимание не один десяток лет. Их труды и идеи до сих пор остаются исключительно актуальными, пройдя сложную проверку временем, крушившим одно и воздвигавшим на пьедестал науки другое. Одной из таких, бесспорно, легендарных фигур стал академик Алексей Александрович Шахматов (1864–1920).

В исследованиях отечественных ученых XX века наблюдается большой пробел среди работ, посвященных истории русской филологии. До сих пор нет обобщающего труда по этой проблематике, а персоналии ученых, составивших славу России, очень редко становятся в центре внимания современников.

В этой связи выход книги В.И. Макарова об А.А. Шахматове представляется нам весьма знаменательным событием, так как побуждает исследователей разных направлений, взглядов и поколений к изучению наследия талантливейшего представителя русской академической школы филологии. В.И. Макаров уже давно известен читателям журнала как автор статей и многочисленных публикаций по истории науки в России и на Украине. В 1981 году в серии “Люди науки” издательства “Просвещение” была опубликована небольшая книга об А.А. Шахматове, где особое внимание уделено педагогической и научной деятельности академика, рассмотрены основные его труды по языкознанию, дана характеристика взглядов ученого на широкий спектр вопросов славянской филологии. Новая книга профессора Макарова, работающего ныне в Елецком государственном педагогическом университете, «“Такого не бысть на Руси прежде...”». Повесть об академике А.А. Шахматове» (СПб., 2000), выпущенная издательством “Алетейя”, представляет собой не исправленное и дополненное издание, как это часто бывает, а совершенно иную по замыслу, богатству привлеченного архивного материала и, если так можно выразиться, стратегии книгу, написанную в необычном жанре – повести.

Труд В.И. Макарова состоит из глав, расположенных в хронологическом порядке событий и жизненных дат А.А. Шахматова. В “Прологе” автор вводит читателя в круг интересов семьи Шахматова, знако-

мит с богатыми традициями русского дворянства, где первоначально формировались взгляды юного Алексея Александровича. Последующие события: годы ученичества, первые труды, научная полемика, работа в ОРЯС, эпизоды из личной жизни – занимают значительное место в книге и интересны прежде всего содержательной частью, а также авторской манерой повествователя – ненавязчивого рассказчика, как бы свидетеля всех описываемых событий. Причем некоторые “отступления” от основной линии сюжета нам кажутся столь же весомыми, как и центральный стержень повествования. Так, описывая зрелые годы жизни А.А. Шахматова, В.И. Макаров обращает внимание и на следующую особенность: “Шахматов прекрасно видел, как нуждается Россия в увеличении числа этнографов-профессионалов. Подготовить же их могли только университеты. Поэтому ученый и задумал в ближайшее время прочитать студентам совершенно новый курс – исторической этнографии” (с. 238).

Автор книги показывает А.А. Шахматова и как организатора науки, деятельного педагога, никогда не оставившегося безразличным к судьбам своих учеников. Здесь же стоит отметить и верно оцененную атмосферу самой научной работы в Отделении русского языка и словесности, и хлопоты А.А. Шахматова по сбережению рукописей и древних книг в смутные годы революции – обо всем этом эмоционально и искренне, со знанием дела, не отступая от источников, рассказывает В.И. Макаров в своей книге. Очень познавательны живые зарисовки учителей А.А. Шахматова и тех, с кем его связывала многолетняя дружба и деятельность: И.В. Ягича, Н.И. Стороженко, В.Ф. Миллера, Ф.Ф. Фортунатова, Ф.Е. Корша, В.И. Ламанского и других замечательных ученых.

Как и полагается в книге такого жанра, автор иногда делает догадки, основанные, впрочем, на больших личных наблюдениях и многолетних раздумьях о судьбе ученого. Так, говоря о неразработанной в те годы грамматической проблематике современного языка и, в частности, синтаксисе, В.И. Макаров задается вопросом: «Что послужило толчком к появлению нового направления исследователей, сказать, наверное, трудно. Может статься, выход в свет в 1914 году “Русского синтаксиса в научном освещении” А.М. Пешковского, труда, в котором автор изложил по-своему целый ряд уже обсуждавшихся научных проблем... И Шахматову вдруг захотелось высказать свое понимание синтаксических проблем, ведь без синтаксиса нет предложения, а без предложения нет высказывания, нет обмена мыслями» (с. 351). И далее, рассуждая, так сказать, о генеалогии создания знаменитого труда, В.И. Макаров справедливо замечает: “Он был построен на громадном материале памятников письменности и русских говоров. Едва поставив последнюю точку в этой рукописи, автор уже задумал продолжение ее: рассмотреть синтаксические явления не в историческом аспекте, но

взглянуть на них с позиций современного исследования языка и углубиться в теорию синтаксиса вообще...” (Там же).

В.И. Макаров проработал огромный корпус архивных документов, хранящихся в собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Одессы и других городов. Таким образом, были введены в содержательную часть новые, неизвестные ранее материалы, существенно обогатившие наши представления не только о самом А.А. Шахматове, но и о научной атмосфере конца XIX – начала XX веков, об общественно-политической ситуации, в которой трудился академик.

По нашему мнению, труд всякого серьезного ученого следует оценивать не только с позиции открытий в теории языка (многие из них, особенно сейчас, остаются лишь эмпирическим подобием трудов наших классиков), а с точки зрения того вклада в научную мысль, который несут в себе неоцененные в достаточной мере идеи и “мироощущение” русской классической филологии. Из них мы до сих пор черпаем полезные и современные нашей эпохе гипотезы, с ними мы до сих пор полемируем. Поэтому книга В.И. Макарова имеет еще и философский смысл: она обращена к читателям (заметим, необязательно филологам) и в какой-то мере воспитывает всех нас, вызывая к речевой культуре, без которой теряется “связь времен”. В заключительных абзацах книги эта мысль выражена очень четко: “Век XIX называют веком русской филологии, и не потому только, что техника тогда не была развита так, как нынче: на ценность филологии смотрели по-иному, и в особенности на ее составную часть – науку о родном языке. Видимо, хорошо понимали, что изучение языков ... развивает мышление еще лучше математики, учит формам точного выражения мысли, приобщает к другим национальным культурам” (с. 389).

Мы обратили внимание и на тот факт, что в “Повести” впервые подробно рассказано о генеалогии рода Шахматовых – не только о предках великого ученого, но, что значительно сложнее, – о потомках, чьи трагические судьбы (в 1930–1940-е гг.) описаны В.И. Макаровым очень корректно и предельно искренне. Здесь же сказаны теплые слова и родственникам А.А. Шахматова, поделившимся с автором крупными воспоминаниями, – это В.Г. и В.Н. Трирозовы, М.А. Шахматова, Н.Н. Копылов-Шахматов.

Книга В.И. Макарова – не биографический очерк в принятом понимании. В ней вехи жизни А.А. Шахматова как бы сопряжены с нашей памятью, остоном которой всегда были и останутся русские ученые, просвещавшие Россию своими трудами, своей вдохновенной мыслью, наконец, своим жизненным подвигом. Знать это и помнить об этом должны и мы.

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ, Ю.Н. КАРАУЛОВ,
В.М. ШАКЛЕИН.

Не говори шершавым языком

Книга “Не говори шершавым языком” (М. Галерея, 1999 г.) – результат серьезной многолетней работы целого научного коллектива. Предпринимая исследование, авторы вначале рассматривали его как часть федеральной программы “Русский язык”. Программа так и не была реализована, тем не менее материалы, собранные в указанной книге, – труд, не оставшийся втуне.

Среди книг по культуре речи и нормативности современного русско-го литературного языка рецензируемое издание занимает особое место. В книге “Не говори шершавым языком” не только собраны речевые ошибки, допущенные ведущими журналистами, политиками, бизнесменами, деятелями искусства и др. в средствах массовой информации, но и предложен ряд интересных методологических и дидактических решений. Хотелось бы на этом остановиться подробнее. Концепция книги, ее структура представляются очень удачными. Нарушения норм литературного языка – орфоэпические, морфологические, грамматические, стилистические (исследователями собраны примеры из печатных и электронных СМИ за последние 5 лет) распределены по таблицам. Каждая ошибка подробно квалифицирована и – что особенно важно для неспециалистов и для читателей, стремящихся совершенствовать владение нормами русской речи – предлагается правильный или более удачный вариант выражения. А значит, материалы книги могут оказаться полезными в процессе обучения школьников и студентов на занятиях по современному русскому языку, практической стилистике, риторике.

Несомненную научную, просветительскую и практическую ценность данной работе сообщает раздел “Комментарий”, в котором помещены краткие сведения о том, что такое ошибка, предлагаются гипотезы относительно лингвистической и социально-психологической мотивации отклонений от языковых норм, дается типологическая характеристика наиболее “образцовых” для нашего времени стилистических “монстров”.

Важно отметить, что забота о чистоте русского литературного языка – не единственная цель авторского коллектива. В комментирующей части книги исследователи стремятся к постижению того факта, что ненормативные языковые явления “представляют собой результат сознательного воздействия общества на язык и формируют специфические традиции речевой культуры” (С. 151). “Таким образом, – констатируют лингвисты, – ошибкой становится нарушение (незнание) либо системных правил, либо установленной обществом конвенции, которая

касается кодифицированного, одобренного обществом облика конкретных языковых единиц". Следовательно, к фактам нарушений языковой нормы (и к самому понятию нормы) требуется проблемный подход, всесторонний анализ факторов социокультурного, исторического, этнопсихологического характера. И "проблемные" аспекты культуры речи, или – точнее – отсутствие таковой (особенно показательны в этом отношении грубые речевые ошибки в речи ведущих политиков), часто располагаются не только в сфере языковой компетенции, но имеют отношение к глубинным процессам, происходящим в русском языковом сознании.

Авторы, несомненно, надеются, что проделанный мониторинг нарушений норм речи в СМИ способен благотворно повлиять прежде всего на самих "нарушителей": список последних весьма представительный и включает таких авторитетных журналистов, как Светлана Сорокина, Евгений Киселев, Павел Лобков, Павел Гусев, Татьяна Худобина, Андрей Максимов, Михаил Осокин и мн. др. Зарегистрированы ошибки в информационных программах телеканалов ОРТ, НТВ, РТР, ТВ-6, МТК, СТС, радиостанций "Эхо Москвы", "Радио-7", "Радио России". Поставщиками речевых ошибок стали газеты "Московский комсомолец", "Известия", "Новая газета". К таблицам приложен именной указатель "ошибившихся", снабженный частотным индексом, так что желающий легко сможет получить информацию по интересующему лицу. В предисловии В.П. Нерознак подчеркивает: "Ученые-лингвисты не хотели и не хотят никого персонально оскорбить или, упаси Бог, унижить. Почти всегда нарушения норм литературной русской речи, допущенные журналистом, политиком, бизнесменом в СМИ, суть его беда, а не вина, к тому же широко распространены" (С. 9).

Внимание к речи журналистов обусловлено прежде всего тем, что именно журналистика отражает активные процессы в современном русском языке – как позитивные, так и, к сожалению, негативные. И ответственность СМИ в распространении того или иного языкового явления особенно высока. Это обстоятельство делает книгу чрезвычайно важным событием отечественной культуры.

О.В. Короткова ©

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Подписка на журнал "Русская речь" (индекс 70788) принимается в отделениях связи.

По вопросам льготной подписки обращайтесь в редакцию.

Телефон: 290-23-78.

Г.М. ПОСПЕЛОВА, Л.Я. ЛИМОНТОВ. Московский дом

Рядовому москвичу, живущему сегодня в обычном доме, подчас неведомо многое из того, что его непосредственно окружает. А путешествие в этот мир может быть необыкновенно увлекательным и поучительным. Именно это предлагают своим читателям авторы книги “Московский дом” (М., “Флинт” – “Наука”, 1999).

Содержание книги чрезвычайно разнообразно. Это сведения исторического характера и современные, совсем “горячие” сообщения. Авторы нашли всю эту информацию в работах специалистов – архитекторов, строителей, археологов, в мемуарах, трудах историков и сегодняшних публикациях на страницах газет и журналов. И в результате представили *дом, московский дом* в разных ракурсах.

В книге описаны дома, в которых жили предки нынешних москвичей. Этой теме посвящены рассказы, главные “герои” которых *изба, терем, палаты, особняк* вместе с усадебными постройками, *доходный дом*.

Москвичи вправе гордиться множеством уникальных зданий, расположенных на улицах и площадях столицы. Их неповторимость может быть связана с претворением идеи великого зодчего, с реализацией точного инженерного расчета. О некоторых из этих домов рассказывается в книге.

Из рассказов, которые позволяют как бы побывать в доме москвича, жившего много лет назад, читатели узнают много интересных и неизвестных деталей быта старой Москвы. Например, как тушили пожары, как освежали воздух в жилище, как находили дом в старой Москве, поскольку адреса в современном смысле этого слова когда-то не было. Или же “заглянуть на огонек” в гостеприимный дом прежних времен, где любили угощать чаем из самовара, пирогами и другими вкусными вещами. При этом можно узнать о том, как и когда появились на столах москвичей привычные сегодня лакомства – шоколад, леденцы, мороженое.

А тех, кто любит тайны и приключения, наверняка заинтересует глава, рассказывающая о кладях, которые москвичи когда-то прятали в своих домах и которые нет-нет да и находят сегодня.

Все это многообразие содержания подкреплено филологическим ос-

мыслением материала – в широком понимании этого явления, трактуемого как “любовь к слову”. И прежде всего это проявляется в хорошо просматриваемом желании авторов быть понятыми читателями вплоть до мельчайших деталей. Вот почему в книге так много пояснений лингвистического характера, позволяющих избежать неточностей и неясностей. И при этом все они достаточно органично вплетены в ткань повествования. Помещенные в широкий исторический контекст, эти сведения в своей совокупности составляют своеобразный справочник по московской городской среде. Среди них можно выделить толкования, связанные с реалиями московского быта различных исторических эпох, разнообразных терминов и понятий из мира архитектуры, из словаря строителей.

Весьма кстати приводятся справки этимологического характера и, прежде всего, раскрывающие эволюцию смысла и фонетического облика базовых понятий (таких, к примеру, как “изба”, “терем”, “палаты” и других). При этом особый акцент делается на представлении заимствованных слов, их основных значений и “территорий” употребления в современном обиходе.

Прекрасно проиллюстрированы в книге сугубо московские разговорные номинации типа названий знаменитых домов: *Филипповская булочная*, *Елисеевский магазин* и другие.

Несомненно важным представляется обращение авторов к ассоциативной памяти читателей с помощью различного рода цитат, пословиц, поговорок.

И, наконец, сам язык этой книги, ясный, доступный, в полной мере отвечающий требованиям жанра – научно-популярного издания.

Справку о приобретении книги вы можете получить, позвонив по телефону (095) 336-03-11

С.А. Шувалова,
доктор филологических наук ©



Еще раз о *мире* и *мире* и о “Войне и мире”

Н.А. ЕСЬКОВА,

кандидат филологических наук

В уже давнем 1982 году (когда телепередача “Что? Где? Когда?” еще не была “интеллектуальным казино” с миллионными ставками) “знаатокам” был задан вопрос, связанный с великим романом. На экране появилась первая страница первого тома, в верхней части которой было название: ВОЙНА и МІРЪ. Предлагалось связать орфографию последнего слова с тем, как следует понимать его значение в заглавии романа. Ответ гласил, что, судя по написанию *міръ*, Толстой не имел в виду “отсутствие войны” (как полагают наивные читатели, читающие только “мир”, пропуская “войну”). Строгий закадровый голос ведущего В.Я. Ворошилова резюмировал, что до сих пор многие недостаточно глубоко понимали философский смысл великого произведения.

Ведущий не догадался уточнить, что эта телепередача имеет “эпохальное” значение, ибо до сих пор заблуждалось все человечество, опрометчиво переводя: “La guerre et la paix”, “war and Peace”, “Krieg und Frieden”, “Guerre e pace” и т.д.

Словом, в передаче все было разъяснено “с точностью до наоборот”. Слово, фигурирующее в названии романа, передавалось по старой орфографии с *и* (так называемым “восьмеричным”); этому письменному облику соответствовали значения “отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие” (привожу определение из словаря Даля). Написание *миръ* (с *i* десятиричным) соответствовало значениям “вселенная, земной шар, род человеческий” и др.

Хорошо известен “казус” с названием поэмы Маяковского “Война и *миръ*”: орфографически противопоставленное, по замыслу автора, названию романа Толстого, оно перестало от него отличаться после реформы орфографии 1917–1918 гг.!

Вернемся, однако, к рассказанному выше: на экране телевизора миллионы телезрителей видели написание ВОЙНА и МИРЪ. Что за странное издание романа было продемонстрировано? Указание есть в комментарии к роману в 90-томном (юбилейном) полном собрании сочинений: это издание 1913 г. под редакцией П.И. Бирюкова (см. т. 16, 1955. С. 101–102). Обратившись к этому изданию, я обнаружила, что написание *миръ* представлено в нем всего один раз, при том, что в четырех томах заглавие воспроизводится восемь раз: на титульном листе и вверху каждой первой страницы каждого тома. Семь раз напечатано *миръ* и лишь один раз – вверху первой страницы первого тома – *миръ*. Именно эта страница, показанная на телеэкране, призвана была произвести переворот в понимании смысла великого романа!

Можно было бы не вспоминать об этой ошибке популярной передачи, если бы периодически не высказывалась мысль, что слово *мир* в романе Толстого вовсе не значит “отсутствие войны”. Приведу два недавних высказывания.

Вот интересное признание. “Когда узнал (вероятно) студентом о смысле, вложенном Толстым в название *Война и миръ* и утраченном из-за новой орфографии(!), был как бы уязвлен, настолько привычным было воспринимать его именно как чередование войны и не войны” (С. Боровиков. В русском жанре. Над страницами “Войны и мира” // Новый мир. 1999. № 9). Автор этих строк не написал бы так, если бы хоть раз в жизни “подержал в руках” дореволюционное издание романа!

А в статье, посвященной новой постановке в Мариинке оперы Прокофьева “Война и мир”, автор между прочим, в скобках, замечает: “...вспомним, что мир в названии романа вовсе не антоним войны, а общество и, шире, Вселенная” (Лит. газета. 2000. № 12). Так и сказано: вспомним! Упорному возвращению к этой мысли можно найти объяснение. Очевидно, это смутные отголоски того, что в какой-то момент сам автор как будто не был уверен в смысле, вкладываемом им в слово *мир*.

В уже упоминавшемся комментарии к роману сообщается, что в проекте договора на печатание романа в 1867 г. впервые появилось название “Война и мир”, вписанное автором вместо зачеркнутого “Тысяча восемьсот пятый год”. Комментарий пишет: «Нельзя не обратить внимания на то, что, вписывая в проект договора заглавие, Толстой слово “мир” написал через *i*, то есть “*миръ*”. Это позволяет предположить, что Толстой вводил в заглавие не слово “мир”, как понятие, противоположное войне, а слово “*миръ*”, как понятие – все люди, весь народ...» (Э.Е. Зайдenschнур. История писания и печатания “Войны и мира”. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 101).

Но, как известно, в дальнейшем роман печатался с написанием *миръ* (если не считать единственный случай, о котором рассказано выше). Создалась устойчивая традиция перевода романа на другие языки. Если даже поверить предположению, что в какой-то момент Толстой колебался, какой из двух по-разному пишущихся омонимов ввести в заглавие романа, то в дальнейшем он решил вопрос в пользу слова *миръ* (а не *миръ*). Не отменяются ли этим всякие сомнения в том, какое слово фигурирует в названии великого романа? Не следует ли “закрыть” эту тему, оставшись при закрепившемся “наивном” понимании?

В заключение – об одном предположении. Весной 1999 г. в “Пушкинской викторине” “Литературной газеты” был задан вопрос: “Где у Пушкина предсказано название самого знаменитого русского романа?” Имелись в виду слова Пимена: “...Описывай, не мудрствуя лукаво, Всё то, чему свидетель в жизни будешь: Войну и мир, управу государей...” И, кажется, существует версия, что именно эти слова подсказали Толстому название его великой эпопеи. Это кажется правдоподобным. Было бы интересно обнаружить подтверждение этого предположения.

P.S. Моя статья находилась в производстве, когда 23 декабря 2000 года в передаче “Что? Где? Когда?” прозвучал вопрос, обозначенный как “ретро”. На экране появилась все та же страница с надписью наверху ВОЙНА и МІРЪ, и был повторен тот же вопрос. Было “разъяснено”, что Толстой написал вовсе не о войне и “не войне”, что его роман – о войне и обществе, о войне и народе...

“Какая плевательница поехала!”

ЭР. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

Товарищи люди,
будьте культурны –
На пол не плюйте,
а плюйте в урны!
В. Маяковский

Возьмем три слова: *пепельница*, *чернильница*, *плевательница*. Они имеют живую словообразовательную внутреннюю форму, т.е. их производящие (мотивирующие) основы легко обнаруживают себя. Первые два слова образованы от существительных, третье – от глагола *плевать* (*плеваться*) за отсутствием в языке слова *плеватель* (ср. *полоскать* – *полоскательница* при отсутствии в языке слова *полоскатель*). Кстати, в словаре В.И. Даля *плевательницы* нет, а есть “плевальник или плевальница, сосуд для плевания в него”. Все три слова сближает наличие в их лексических значениях общих сем: “сосуд (емкость), предназначенный (предназначенная) для наполнения (постепенного или одномоментного) чем-либо”. Предметы, названные этими словами, бездейственны, пассивны. Они не орудия действия (в отличие, скажем, от авторучки, заправленной чернилами). Они могут стать орудием действия, если только будут употреблены за пределами своей предназначенности, своей функции, “компетентности”, как это, например, произошло с чернильницей, запущенной отцом Дубровского в судью.

Теперь о слове *плевательница*. 1 мая 1941 года в числе десятков мальчишек я стоял на набережной напротив Китайского проезда. Мы, как всегда, ждали возвращения войск с парада на Красной площади. Вот поехали пушки. Одна, вторая, третья... И вдруг стоявший в оцеплении милиционер повернулся к нам. Я уже не помню черт его лица, но хорошо помню, что оно было очень молодым и светилось восторгом. Он с уважительным восхищением сказал: “Какая плевательница поехала!”

Так что же такое это слово в этом значении? Каков механизм его появления? Да, это метафора. Да, неязыковая, речевая, авторская. Однако было бы, по-моему, и поспешно и поверхностно полагать, что это просто перенос названия известного бытового предмета на другой по

сходству формы или функции. Между пушкой и плевательницей нет ни того, ни другого. Формы их совершенно несхожи. В плевательницу посылает плевки, а пушка посылает снаряды. Пушка – орудие действия, действующий предмет. В нем запрограммировано действие, а не бездействие.

Когда М. Горький написал: “Состав стошнило солдатами”, это была авторская метафора-олицетворение. У глагола появилось речевое (оказиональное) переносное значение. В случае с *плевательницей* метафоризация упрятана глубже. Да, конечно, пушка по форме никак не напоминает ее. Однако пушки ехали мимо нас и въезжали в Китайский проезд, поворачиваясь к нам дулом (я употребляю здесь слово *дуло* в его терминологическом значении – “выходное отверстие ствола”). Дуло круглое. И было оно солидного калибра. Вот эта круглость и могла напомнить милиционеру форму плевательницы и послужить толчком к работе ассоциации. А если милиционеру было знакомо существующее в языке переносное значение глагола *плеваться*, которое так истолковано в семнадцатитомном “Словаре современного русского литературного языка”: “Извергать, выбрасывать из себя что-либо, разбрасывать из себя частицы чего-либо”, это вполне могло усилить и ускорить работу сопоставления, образно-ассоциативную деятельность индивида. Примечательно, что он познакомил нас с возникшим у него образом явно сразу же после того, как он у него созрел и его самого удивил. И это произошло, когда уже несколько пушек продемонстрировали то место у них, которое напомнила плевательницу. Итак, милиционер образовал от *плеваться* в переносном значении другую, метафорическую *плевательницу*, наделив ее функцией, продиктованной переносным значением *плеваться*. Метафоричность этой *плевательницы* досталась ей от переносного значения глагола. Языковая *плевательница* была образована от *плевать*, *плеваться* (в 1-м, прямом значении), а речевая – от *плеваться* в переносном смысле. *Плевательница*¹ и *плевательница*² – омонимы. Ср. сходный случай. Термин *наезд* (из терминологии сотрудников ГАИ) в разговорной речи подвергся детерминологизации: посредством метафорического переноса и расширения значения возникло у этого слова нетерминологическое значение. Вот лишь один пример из десятков, встречающихся в нынешней прессе: “...широкая публика может судить об этом... по историям наездов на ...олигархов” (Известия. 2000.28.07). Можно смело утверждать, что это слово в метафорическом смысле уже попало в язык. И если кто-нибудь скажет об участнике такого наезда *наездник*, это слово уже при своем произнесении будет метафорой (его метафоричность досталась ему от метафоричности слова *наезд*). Этот *наездник* (не имеющий никакого отношения к верховой езде) стал бы омонимом к давно существующему в языке *наезднику*.

Возможно допустить и другую версию. Милиционер, владея пере-

носным значением *плеваться*, перенес название бытового предмета на орудие.

В любом случае объективно *плевательница* в метафорическом значении выступает как название орудия действия. Возникает противопоставление (противоположность, оппозиция): название пассивного, страдательного, так сказать, предмета и активного, действующего, противопоставление объекта действия и субъекта действия. Если это так, то не речевая ли энантиосемия здесь налицо? Напомню, энантиосемию часть лексикологов признает особым видом полисемии (многозначности), другая часть – особым видом омонимии, т.е. первые говорят о противоположных значениях внутри одного и того же слова, о противоположности лексико-семантических вариантов слова, а вторые – об омонимах с противоположными значениями (вот один из случаев энантиосемии: *задуть свечу* – *задуть домну*; противопоставление: *погасить*, *разжечь*).

Но тут могут возразить, напомнив, что не имеют антонимов слова, называющие конкретные предметы (*карандаш*, *книга* и т.д.), а ведь языковая и речевая *плевательницы* обозначают конкретные предметы. Однако обратимся к словам *щит* и *меч*. Они не называют ни свойств, ни качеств, ни положения в пространстве, но одно из них обозначает оружие защиты, а другое – оружие нападения. По-моему, это антонимы, обозначающие противоположные свойства пассивности и активности.

Добавлю, что прозвучавшее 56 лет назад слово обладало двойной переносностью: не только метафорической, но и синекдохической. Милиционер не сказал *плевательницы*, а произнес *плевательница*: некое множество проезжавших орудий было названо по одному из них (ср. у Лермонтова: “И слышно было до рассвета, как ликовал француз”).

А еще это слово было эмоционально окрашено: оно несло в себе экспрессию грубовато-ласковой восторженности.



*К 75-летию Древнерусской рукописной
картотеки XI–XVII вв.*

В рамках осенней сессии Российская академия наук, Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН 16–18 октября провели две тесно соприкасающиеся тематически лингвистические конференции, которые состоялись в Институте русского языка РАН и в Российской государственной библиотеке. Они были посвящены 75-летию уникальнейшей Картотеки Древнерусского словаря (КДРС). Безусловно, это весьма значительное событие в научных кругах не только России, но и всего славянского мира.

Научно-практическая конференция “Картотека ДРС как источник по истории русского языка и культуры” открылась 16 октября в конференц-зале Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Сразу же следует отметить, что во всех прозвучавших докладах красной нитью проходила мысль о том, что редчайшая по охвату памятников письменности Картотека – главная база всех современных исследований по исторической лексикологии и исторической лексикографии. Трудно переоценить важность КДРС как источника для создания региональных исторических словарей, работа над которыми ведется в Пскове, Смоленске, Томске и других городах.

На конференцию приехали многие ученые, в течение ряда лет работавшие с материалами Картотеки, исследователи из Ростова-на-Дону, Вологды, Пскова, Смоленска, Белгорода, Казани, Твери, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Киева, Красноярска. Практически во всех докладах отмечались уникальность Картотеки, ее роль в развитии ис-

торической лексикологии и исторической лексикографии на современном этапе. Одновременно говорилось о проблемах издания Словаря русского языка XI–XVII вв., главного исторического труда, выходящего на базе Картотеки. Обсуждались и вопросы, связанные с выходом в свет самых разнообразных лексикографических изданий: Терминологического словаря русской иконописи, Словаря народно-разговорной речи города Томска XVII – начала XVIII вв., Словаря русского языка XVIII в., Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв., Регионального исторического словаря по памятникам смоленской деловой письменности XVI–XVIII вв. и др. В рамках конференции состоялась работа трех секций: “Картотека как лингвистический источник”, “Проблемы региональных словарей и картотек”, “Лингвистические исследования по материалам Картотеки ДРС”. Были обсуждены проблемы и перспективы развития картотек исторических словарей самых разных типов.

17 октября в конференц-зале Российской государственной библиотеки открылась вторая конференция “Восточнославянская историческая лексикография на современном этапе (источники, картотечные собрания, словари)”, которая явилась как бы продолжением работы первой и прошла также под знаком юбилея КДРС. На ее пленарном заседании были заслушаны актуальные для всего научного мира восточных славян доклады, освещающие общие проблемы: о культурно-историческом наследии славянских стран, об общеславянском лингвистическом атласе, о работе восточнославянского лексикографического общества, о Картотеке ДРС и картотеках исторического словаря украинского и исторического словаря белорусского языков и ряд других.

Все присутствующие с одобрением отнеслись к высказанной мысли об отнесении картотечных собраний к памятникам особой ценности, о создании реестра памятников особой культурной и научной ценности.

Открытие перед началом конференции выставки “Славянский мир: словари, источники, энциклопедии” стало заметным событием. Можно было наглядно увидеть, как огромная и многолетняя исследовательская работа находит свое практическое воплощение.

*И.А. Королева,
доктор филологических наук,
участник конференции ©*